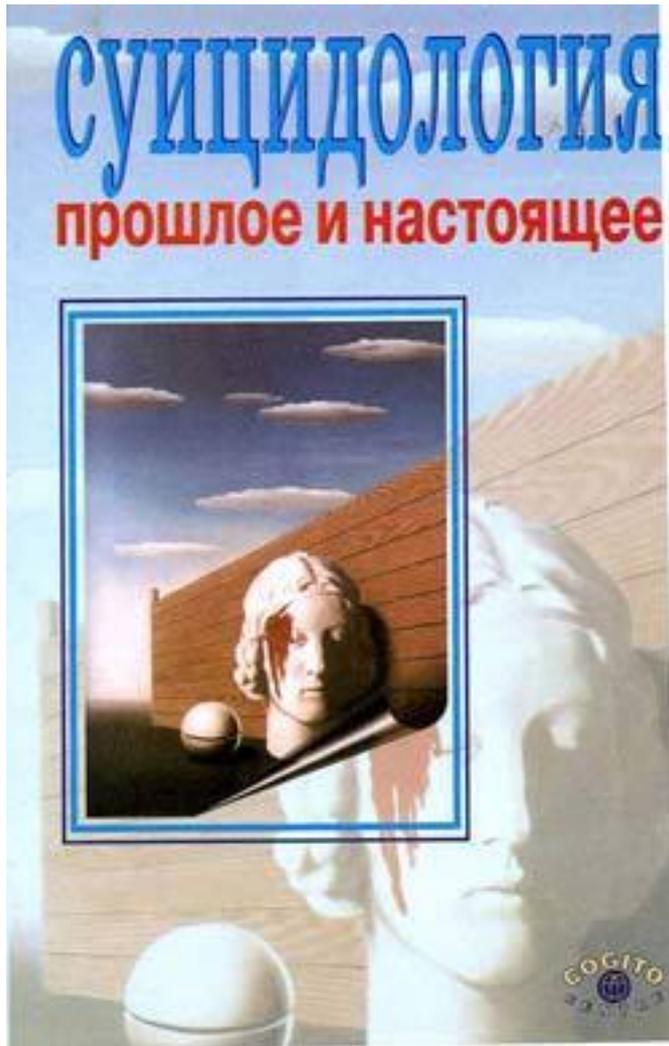
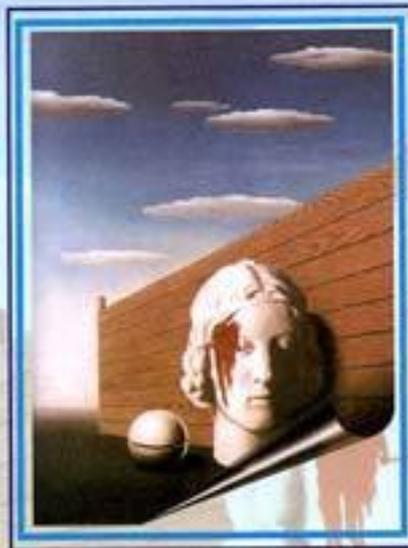


СУИЦИДОЛОГИЯ

прошлое и настоящее



COGITO
2013

**Суицидология: прошлое
и настоящее: проблема
самоубийства в трудах философов,
социологов, психотерапевтов
и в художественных текстах**

«Когито-Центр»

Суицидология: прошлое и настоящее: проблема самоубийства
в трудах философов, социологов, психотерапевтов и в
художественных текстах / «Когито-Центр»,

Представленные в книге тексты систематизированы в трех разделах:
историко—философском, клинико—психологическом и литературно—
художественном. Предисловия к разделам, снабженные библиографическим, а
также биографическим комментарием, освещают историю изучения суицида
в странах Запада, Востока и в России. Попытка научной систематизации
материалов по суицидологии и публикация малоизвестных текстов отличают
данное издание от близких по тематике.

Содержание

От составителя	5
1 РАЗДЕЛ	7
ВВЕДЕНИЕ К ИСТОРИКО—ФИЛОСОФСКОМУ РАЗДЕЛУ	7
Луций Анней Сенека	19
ПИСЬМО 4	19
ПИСЬМО 69	20
Мишель Монтень	26
О ТОМ, КАК НАДО СУДИТЬ О ПОВЕДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ	26
Давид Юм	31
Артур Шопенгауэр	37
ГЛАВА XII О САМОУБИЙСТВЕ	37
Параграф 334	37
Параграф 335	37
Параграф 336	37
Параграф 337	38
Параграф 338	38
Параграф 339	39
Параграф 340	39
Параграф 341	39
Параграф 342	39
Федор Достоевский	41
ДВА САМОУБИЙСТВА	41
ПРИГОВОР	42
ГОЛОСЛОВНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ	44
Карл Ясперс	47
САМОУБИЙСТВО	47
1. Самоубийство как факт	47
2. Вопрос о необусловленном	49
3. «Почему мы остаемся жить?»	51
4. Невыносимость жизни	52
5. Стечение обстоятельств	53
6. Экзистенциальная позиция по отношению к самоубийству в случае оказания помощи и осуждения	54
Николай Бердяев	57
I	57
II	59
III	61
IV	65
V	68
Анатолий Кони	72
Конец ознакомительного фрагмента.	86

А. Н. Моховиков

СУИЦИДОЛОГИЯ

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

От составителя

КЛИНИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

ПАРАДИГМА САМОУБИЙСТВА

Книга, которую держит в руках читатель, является одной из первых изданных на русском языке хрестоматий, посвященных важнейшей проблеме современности – проблеме самоубийства, которое представляет собой наиболее яркое и открытое проявление саморазрушающего поведения человека.

После периода пристального и разностороннего интереса к многообразным аспектам суицида, проявленного русскими психиатрами, психологами, философами, юристами, писателями и общественными деятелями в конце XIX – начале XX века и в послеоктябрьскую эпоху, над этой проблемой на долгие десятилетия повисла завеса молчания. Не исключено, что советскую власть в суициде возмущало прежде всего самоуправство. Произвольный, независимый от тоталитарной власти акт, пусть даже такой, как самоуничтожение, наглядно свидетельствовал о том, что в стране все же сохраняется неуправляемая жизнь, бытие неконтролируемых личностей. Самоубийства считались недопустимыми и по причине того, что прерогатива личного выбора была узурпирована государством, которое не могло допустить мысли, что право казнить по собственному желанию принадлежит кому—то еще. Кроме того, открытый разговор о самоубийстве, естественно, оказал бы разрушительное воздействие на миф о стопроцентном единодушии счастливого социалистического общества. Тот, кто даже едва затрагивал эту тему, становился, подобно Николаю Эрдману, обреченным на всю оставшуюся жизнь. Свидетельница той трагической эпохи Надежда Мандельштам писала, что в те годы самоубийца приравнивался к дезертиру. Допустить, чтобы в прекрасной армии строителей социализма бывали случаи дезертирства, было невозможно.

После распада СССР стало очевидным фактом, что во всех европейских государствах, возникших на его территории, уровень самоубийств является самым высоким в мире, а проблема саморазрушающего поведения с каждым годом принимает все более угрожающие, эпидемические масштабы. Это определяет необходимость принятия неотложных мер профилактики, прежде всего создания национальных программ превенции суицидов.

Существенной предпосылкой этих действий является возможно более полное ознакомление профессионалов и самых широких кругов общественности с историческим контекстом и современным состоянием проблемы аутоагрессивного поведения. Совершенно очевидно, что заинтересованный в ней читатель вряд ли обнаружит на своей книжной полке более 3–4 наименований книг по этой проблеме, изданных за последнее десятилетие.

Данная хрестоматия призвана восполнить этот серьезный пробел. По сравнению с первым изданием (Киев: Издательство А.Л.Д., 1996) она существенно дополнена. Предлагаемые вниманию читателя тексты, публикуемые целиком или в виде наиболее важных фрагментов, сгруппированы таким образом, чтобы представить сложную проблему суицидального поведения в трех ракурсах: историко—философской ретроспективы самоубийства, его клиничко—психологической парадигмы и отражения суицидальных мотивов в избранных произведениях художественной литературы.

Разумеется, эта хрестоматия не может претендовать на полноту охвата явления и неизбежно несет на себе печать личных пристрастий, профессиональных интересов и увлечений составителя. Уже сегодня просматриваются контуры ее будущего, более полного издания, которое, естественно, может осуществиться, если эта книга увлечет и заинтересует тех, кто неравнодушен к бесценному дару – человеческой жизни.

А. Н. Моховиков

1 РАЗДЕЛ ИСТОРИКО~ ФИЛОСОФСКИЙ

ВВЕДЕНИЕ К ИСТОРИКО— ФИЛОСОФСКОМУ РАЗДЕЛУ

Тексты, представленные в настоящем разделе, делятся на собственно философские (их авторы – Л. А. Сенека, М. Монтень, Д. Юм, А. Шопенгауэр, Ф. М. Достоевский, К. Ясперс, Н. А. Бердяев) и историко—феноменологические (авторы которых – А. Ф. Кони, И. А. Сикорский, П. И. Ковалевский, Ю. М. Лотман, В. Ф. Ходасевич, Б. Л. Пастернак, Б. Г. Херсонский); они служат целям осмысления феномена суицидального поведения в исторической ретроспективе. Исторический обзор суицидального поведения объясняет его значение и смысл для человека и общества, а также дает возможность проследить закономерности и формы его проявлений.

На протяжении человеческой истории проблему самоубийства решали вначале с технологических, позже с философских и нравственных позиций, затем, с середины прошлого столетия, к выяснению привлекались знания из области психиатрии, антропологии, психологии, правоведения, эпидемиологии и социологии. Это позволяет сегодня рассматривать феномен самоубийства с мультидисциплинарных позиций.

В ходе истории взгляды на сущность добровольного ухода из жизни существенно изменялись, как и его моральная оценка (грех, преступление, норма, героизм), в зависимости от соответствующего этапа развития общества и преобладавших социальных, идеологических и этнокультуральных представлений. С глубокой древности отношение к суициду, его причины и технология тесным образом были связаны с тем, как то или иное общество, социальная группа или культура воспринимали понятие смерти. Это и определяло различия в отношении к акту аутоагрессии государства, священнослужителей, законоучителей, философов и простых людей.

В *традиционных*, так называемых *примитивных культурах*, на смерть смотрели двойственно. Для человека той давней эпохи она могла быть плохой или хорошей. Плохая смерть обычно связывалась с самоубийством. Согласно анимистическим представлениям, суициденты после смерти превращаются в маленьких злых духов, способных наводить на живущих порчу. Эти взгляды дошли до нас в народных верованиях и преданиях ряда племен Африки, Азии и Южной Америки, находящихся на родоплеменном этапе развития. Шаманизм, в том числе и современный, также неодобрительно относится к суицидам. Например, буряты верят, что души покончивших с собой превращаются в мучителей своих родственников. Местом их обитания становится водная пучина, в которую они стараются заманить купальщиков. И хотя погребальный обряд бурят расписан до мельчайших деталей, суицидентам в нем не нашлось места. Существуют указания лишь на очень редкие, практически единичные случаи ритуальных самоубийств (например, добровольная смерть бездетных стариков во время засухи). Отечественный этнопсихиатр В. Б. Маневич описал совершенно уникальное самоубийство стариков—бурят в древности: если у семидесятилетних людей не было внуков, считалось, что «они заедают чужую жизнь», их заставляли проглатывать бесконечную ленту жира, и они задыхались.¹

¹ См.: Маневич В. Б., Баранчик Г. М. Психологическая антропология. – Томск, Улан—Удэ, 1994.

По—видимому, первым дошедшим до нас письменным источником, сохранившим упоминания о суициде, является *древнеегипетский* «Спор разочарованного со своей душой». ² Он относится к эпохе Древнего царства (XXI век до н. э.) и был написан неизвестным автором во времена крутой ломки общественных порядков и нравов. «Спор...» проникнут переживаниями покинутости и заброшенности, герой его чувствует себя одиноким в окружающем обществе, в котором ему все чуждо и враждебно. В его строках нет и намека на религиозный страх перед добровольным завершением жизни. Вполне возможно, что по крайней мере на определенных этапах древнеегипетской цивилизации отношение к самоубийству было вполне толерантным.

Греко—римская культура относилась к самоубийствам неоднозначно. Самоуничтожение было связано с пониманием греками и римлянами свободы, являвшейся одной из основных идей их философской мысли. Для них свобода состояла прежде всего в свободе от внешнего давления, в самостоятельном контроле собственной жизни. Ее высшей формой становится свобода в принятии решения – продолжать жизнь или умереть. Свобода для них была творческой, самоубийство поэтому в известной мере являлось креативным актом.

Древнегреческих философов в зависимости от точки зрения на допустимость самоубийства можно разделить на три группы. Пифагор (ок. 580–500 до н. э.) и Аристотель (384–322 до н. э.) противостоят эпикурейцам, киникам и стоикам, Платон (428/427–348/347 до н. э.) и Сократ (470/469–399 до н. э.) занимают промежуточную позицию.

Пифагорейцы представляли вселенную полной гармонии, которую они поверяли музыкой и числом. В их понимании суицид был мятежом против установленной богами почти математической дисциплины окружающего мира, внесением в него диссонанса и нарушением симметрии. Аристотель считал, что смерть приходит в положенный час и ее следует приветствовать, самоубийство – проявление трусости и малодушия, даже если оно спасает от бедности, безответной любви, телесного или душевного недуга. Он утверждал в «Никомаховой этике», что, убивая себя, человек преступает закон и поэтому виновен перед собой как афинский гражданин и перед государством, оскверненным пролитой кровью. Не случайно в Афинах существовал обычай отрубать и хоронить отдельно руку самоубийцы.

Отношение Сократа и Платона к самоубийству основывается на следующих положениях. Сократу потусторонний мир – Гадес – не казался местом, столь отвращающим взор, как, например, герою гомеровского эпоса. Платон был уверен, что отношения тела и души сложны и проблематичны, злые поступки тела оскверняют душу, делая ее несчастной, и не дают возможности полностью отделиться и вернуться в мир идей. Это идеальное существование после смерти, не являясь прямым призывом к суициду, тем не менее создавало вполне определенную атмосферу, заставлявшую человека поверить, что уход от земной жизни является единственным путем к совершенному бытию. Терпимое отношение к суициду содержится во взглядах Сократа на философию как «приготовление к смерти». В диалоге «Федон» неоднократно говорится о предпочтительности смерти перед жизнью. От этих умозаключений, казалось бы, один шаг к вопросу: «Так почему же в таком случае не самоубийство?» Но, спохватываясь, Сократ накладывает на него вето, оно недопустимо, ибо жизнь человека зависит от богов: «Не по своей воле пришел ты в этот мир и не вправе устранишься от собственного жребия». Однако он все же оставляет лазейку: добровольная смерть может быть позволительной, если необходимость ее указана всевидящими богами. Существенно, что Сократ устанавливает ассоциативную связь между бессмертием души и добровольной смертью. Платон также полагал, что разум дается человеку для того, чтобы иметь мужество переносить жизнь, полную горестей и страданий. ³

² См. литературно—художественный раздел настоящего издания, а также: Поэзия и проза Древнего Востока. – М.: Художественная литература, 1973.

³ См.: Платон. Сочинения. В 3 т. – М.: Мысль, т. 2, с. 11–94; т. 3(1), с. 288; т. 3(2), с. 363.

Для представителей третьего направления сущность жизни и смерти не была серьезной проблемой. Эпикур (341–270 до н. э.) и его ученики, полагая целью жизни удовольствие, считали суицид возможным и даже желательным («...самое ужасное из зол, смерть, не имеет к нам никакого отношения; когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет»⁴). Стоики же скорее были озабочены страхом потери контроля, в том числе над собственной жизнью. Чтобы избавиться от него, они утверждали: если обстоятельства делают жизнь невыносимой или наступает пресыщение, следует добровольно расстаться с ней. В *императорском Риме* под влиянием философии стоицизма возникло патетическое отношение к смерти. В «*Анналах*» Тацит (ок.58– после 117) весьма подробно описывает обстоятельства самоубийства Сенеки и его жены («*Анналы*», 15.60–64). Рассказывая о насильственной смерти одного римлянина по имени Азиатик во время правления императора Клавдия («*Анналы*», 11. 3), Тацит говорит, что свобода состояла только в выборе способа своей смерти. Для Цицерона (106– 43 до н. э.) суицид не являлся большим злом. Цель жизни состоит в том, чтобы жить и любить себя в соответствии с природой: самоубийство для мудреца, желающего быть верным ей до конца, могло быть вполне полезным. Стоики не верили в любящее, заботящееся божество и были далеки от того, чтобы признавать ценностью преходящий человеческий успех. Они ценили неограниченное проявление свободы, которое предусматривало и право выбора одного из многих вариантов ухода из жизни. Смерть описывалась стоиками как акт освобождения, в котором, например, Плиний Младший (61/62–около 114) усматривал превосходство человека над богами.

Тема самоубийства была одной из основных в письмах Луция Аннея Сенеки (ок.4 до н. э.–65 н. э.) – в последнем, итоговом произведении мыслителя—стоика. В качестве наставника он обращался к Луцилию, одному из своих учеников, страстно желавшему стать настоящим философом.

Смерть, по мнению Сенеки, должна быть хорошей, то есть лишенной страсти и эмоций. Для него основным критерием являлась этическая ценность жизни: «Раньше ты умрешь или позже – неважно, хорошо или плохо, – вот что важно. А хорошо умереть – значит, избежать опасности жить дурно».⁵ Цицерон, Сенека и знаменитый автор «*Сатирикона*» Петроний Арбитр (год рожд. неизв.–66 н. э.) свои философские взгляды претворили в жизнь. Видимо, во времена Тиберия, Калигулы и Нерона, дома Клавдиев, «ненавистного богам и людям», подобное отношение к саморазрушению не было лишено оснований. Наиболее значительные из «*Нравственных писем к Луцилию*», имеющие отношение к теме суицида, открывают настоящий раздел.

Древние иудеи относились к самоубийству отрицательно. Для них свобода была не меньшей экзистенциальной ценностью, чем для греков, но решали они эту проблему принципиально иначе. Бог дал каждому свободу принимать решения и следовать им. Если человек верит, что Бог господствует над землей и принимает эти отношения, то он становится свободным от желания самодеструкции. Иудаизм относился к жизни творчески, как к непреходящей ценности. Человек в этом смысле был не соперником Богу, а, скорее, равноправным партнером в продолжающейся работе творения. В этом контексте самоубийство выглядит как помеха, отвержение возможности творческого созидания жизни. Оно было категорически запрещено Торой. Это определялось уже первыми строками книги Бытия, утверждавшими, что жизнь хороша, ее следует ценить, никогда не отчаиваться, ибо за всем, что бы ни происходило, стоит Бог. Маленький кочевой народ, каким были древние иудеи, неоднократно в своей истории подвергавшийся нападению неприятелей, не мог позволить себе роскошь лишиться хотя бы одного мужчины, поскольку в чрезвычайных обстоятельствах это грозило исчезновением рода.

⁴ Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Книга X. Эпикур. – М.: Мысль, 1979, с. 433.

⁵ Сенека Л. А. Нравственные письма к Луцилию. Трагедии. – М.: Художественная литература, 1986, с. 130

В священных книгах Торы описаны лишь единичные случаи самоубийства, например, Самсона, принуждавшегося к идолопоклонству филистимлянами; царя Саула и его оруженосца при угрозе пленения врагом; Ахитофеля, предавшего своего повелителя, царя Давида. Даже в проникнутых экзистенциальным пессимизмом книгах Иова и Екклесиаста видна глубокая привязанность к жизни. Иов, например, по всем современным критериям является человеком с очень серьезным суицидальным риском. Он страдает одновременно от множества потерь (детей, общественного положения, материального благополучия) и от неразделенных чувств. Его жена советует ему покончить с собой. Он переживает одиночество, гнев, тревогу, унижение, страдание от физической боли и депрессию. Жизнь отвергла его, и он ощущает привлекательность смерти, утратив надежду на изменения в будущем. И, наконец, он живет жизнью, не имеющей смысла. Что же остановило его? Экзистенциальное объяснение этому уже приводилось. Но есть и психологическое, основанное на традициях Торы: Иова не до конца оставило желание продолжать поиски понимания смысла жизни, что возвратило ему надежду.

В Талмуде попытка самоубийства рассматривалась как преступление, подлежащее суду и наказанию. Однако допускалось, что преступник—жертва мог действовать в состоянии умоисступления и потому больше нуждается в жалости и сострадании, чем в преследовании по закону. Кроме того, из этого правила допускались исключения, например, при принуждении к идолопоклонству, инцесту или убийству. К той же исторической эпохе относятся случаи массовых самоубийств среди иудеев (73 н. э.) перед лицом угрозы обращения в другую веру: защитники крепостей Масада и Йотапата предпочли смерть сдаче римлянам. Через тысячу лет (1190) аналогично поступила иудейская община в Йорке, которой грозило насильственное крещение.

Для японской культуры также характерна солидарность в отношении самоубийства, однако совершенно противоположного рода. Как ни в какой другой культуре, оно носит ритуальный характер и окружено ореолом святости. Это определяется религиозными традициями синтоизма и национальными обычаями, регламентировавшими ситуации, в которых суициду не было альтернативы. С давних времен японское общество отличалось жесткой иерархией, которую венчал император, воплощение и прямой наследник богини Солнца. Каждое царствование было эпохой, смерть императора или феодала означала, что жизнь многих поданных тоже закончилась. Подданные питали к ним глубокое уважение и рассчитывали поддерживать с ними вечные отношения. Военское сословие самураев имело особый кодекс – бусидо, в котором декларировалось презрение к собственной жизни, к страданиям и боли. Самоубийство по определенному ритуалу было для них безальтернативным, если следовало искупить вину или выразить протест против несправедливости для сохранения чести. Оно совершалось двумя особыми методами: харакири (вспарыванием живота) или откусыванием собственного языка. Функционирование семьи в этом этносе также отличалось особенностями. Оно было проникнуто общностью и симбиозом (например, жизнь матери имела смысл, если она была целиком посвящена детям) и крайней независимостью ее членов в отношении окружающей среды (нежеланием принимать помощь извне). В общественных отношениях и полная независимость, и, наоборот, подчинение означали незрелость человека. Кроме того, личное и социальное *Я* японца отличались почти полным слиянием. Будучи в первую очередь членом определенной социальной группы, он должен был отвечать за все, что происходило в ней, чтобы предотвратить угрозу нестабильности. Предрасполагали к суициду и другие черты японского этноса, например, сдержанность и молчаливость с минимальным выражением чувств, склонность к интровертированной агрессии, значимость чувства стыда при несоответствии принятому в обществе идеалу. Интенсивное переживание стыда скрывалось, в противном случае не оставалось ничего, кроме как умереть, совершить суицид так, чтобы никто не нашел тела. Наверное, поэтому в Японии издавна существовали особые места, например, лес у подножия горы Фудзияма, куда стремились желавшие покончить с собой.

Следует упомянуть некоторые связанные с японскими этнокультурными особенностями виды самоубийств. *Ояко—синдзю* – парный суицид молодых людей, не имеющих возможности обрести счастье в этой жизни, или матери и детей. Последний обычно совершается молодой матерью в возрасте 20–30 лет после убийства своих детей. Решив покончить с собой, она не может оставить ребенка жить одного, поскольку уверена, что никто в мире не будет заботиться о нем, а, следовательно, ему лучше умереть вместе с ней. Общество относится к такому поступку с сочувствием. *Дзюнси* – самоубийство, осуществляемое, чтобы сопутствовать императору, феодалу или боссу после его смерти, так выражалась крайняя лояльность, преданность и готовность служить вечно. *Инсеки—джисатцу* – суицид, свершаемый, если некто, с кем человек так или иначе связан, подозревается в правонарушении. Испытывая стыд и желание защитить, этим поступком суицидент принимает на себя ответственность за сделанное другим. *Возрастные* самоубийства напоминают ояко—синдзю. Их совершают пожилые семейные пары в случаях тяжелых, неизлечимых заболеваний одного или обоих супругов. Здоровый принимает решение убить более немощного, а затем покончить с собой.

Нередко в ходе японской истории этнические традиции способствовали широкому распространению героических суицидов, отражавших пламенный патриотизм, неукротимое мужество и самопожертвование представителей высших сословий общества.⁶

В исламе самоубийство было тяжелейшим из грехов и решительно запрещалось Кораном. Правоверные мусульмане верят, что кысмет, то есть судьба, предначертанная Аллахом, будет определять всю их жизнь, и они обязаны терпеливо сносить все удары судьбы как ниспосланные свыше испытания в этой жизни. Тем не менее такие установки далеко не всегда определяли реальное поведение правоверных мусульман, по крайней мере некоторых, вполне поощрявших героические самоубийства во имя отечества и Аллаха. Однако и сегодня мусульманские страны характеризуются самым низким числом самоубийств на душу населения в мире.

Долгая история *Древней Индии* оставила различные свидетельства, касающиеся самоубийств. Конечной целью почти всех ее философских систем было «освобождение» от цепи рождений (кармы) и слияние с миром Брахмы – последней основы мироздания. Метод «освобождения» на слияние не влиял, и оно нередко достигалось путем суицида. Некоторые йоги—долгожители, достигнув определенного возраста, завершали жизнь самоубийством. Так поступали и многие герои «Махабхараты». Джайнам, представителям одной из радикальных индуистских сект, было разрешено кончать с собой, если после 12 аскетических подвигов они не достигали «освобождения». Они считали, что следует медленно, постепенно умерщвлять свою плоть, тем самым очищаясь от грехов, и только такая смерть является правильной. Примером может служить известный властитель Чандрагупта Маурья (IV век), покончивший с собой, перестав принимать пищу. В Индии наибольшее распространение получили религиозные самоубийства в виде самоутопления и самосожжения, а последователи Вишну толпами бросались под колеса громадных колесниц, принося себя в жертву. Сати – ритуальное самосожжение индийских вдов после смерти мужа для удовлетворения чувственных потребностей покойника в загробном мире – было одним из наиболее распространенных и известных видов ритуального самоубийства. Оно, несомненно, являлось продолжением древней традиции человеческих жертвоприношений. Исполнение этого обряда прежде всего предписывалось женам правителей и знатных людей и имело исключения для простолюдинок. Смерть в водах, описанная еще в «Рамаяне», навсегда освобождала человека от грехов. Хотя, с другой стороны, известно немало древнеиндийских текстов и сводов законов, которые осуждали аутоагрессию («Модшадхарма», «Артхашастра») и предписывали меры борьбы с ней, если она носила бытовой характер.

⁶ См.: Takahashi Y., Berger D. Cultural Dynamics and Suicide in Japan // Leenaars A., Lester D. (Eds.) Suicide and the Unconscious. – Northvale: Jason Aronson, 1996, p. 248–258; Трегубов Л. З., Вагин Ю. П. Эстетика самоубийства. – Пермь, 1993.

Буддизм, как известно, существует в виде двух вариантов: махаяны (или ламаизма), распространенной на Тибете, среди бурятов и монголов, и хинаяны («малой колесницы»), преобладающей в Китае, Японии и других южноазиатских странах. Его суть состоит в вере в бесконечность перерождений (сансару). Прекратить ее можно только в состоянии Будды, мирянину же это абсолютно недоступно. Самоубийство не может прервать сансару, а только привести к дальнейшему перерождению, но уже ни в коем случае не в облике человека, а, например, животного или голодного демона. Эта перспектива, естественно, не является привлекательной, поэтому истинный буддист категорически отвергает самоубийство. Сторонники хинаяны в отдельных случаях допускали ритуальные самоубийства священнослужителей, особенно монахов. В Японии такое самоубийство именуется *нюдзэ*. Ведя аскетический образ жизни, монахи в конечном счете отказывались от еды и питья, веря, что тем самым могут спасти людей и мир от многочисленных грехов.

Как свидетельствует история, в *христианстве* четкое отношение к суицидам сформировались не сразу. В Евангелии о них сказано лишь косвенно при упоминании о смерти Иуды Искариота. Более определенно в Библии высказывается апостол Павел: «Разве вы не знаете, что вы храм Божий. . . Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы» (1 Кор. 3:16,17). Первым из Отцов Церкви самоубийство осудил в IV веке Блаженный Августин, таким образом отреагировав на эпидемический рост случаев добровольных смертей и неистового мученичества среди фанатических последователей христианских сект. Он считал суицид поступком, который заранее исключает возможность покаяния и является формой убийства, нарушающей заповедь «Не убий». Его следует считать злом при всех обстоятельствах, за исключением ситуаций, когда от Бога поступает прямая команда (как это было в библейской истории с Самсоном).

Почти через тысячу лет католический теолог Фома Аквинский (1225–1274) был еще более категоричен и осуждал самоубийство на основании трех постулатов:

1. Самоубийство является нарушением закона природы, в соответствии с которым «все естественное должно поддерживать свое бытие» и который предписывает любить себя;
2. Это – нарушение закона морали, поскольку наносит ущерб обществу, частью которого является самоубийца;
3. Самоубийство есть нарушение Закона Божьего, который подчиняет человека провидению и оставляет право забирать жизнь только самому Богу.⁷

Данте Алигьери (1265–1321) в соответствии с традициями этой доктрины в «Божественной комедии» поместил самоубийц среди мучающихся в аду грешников. Их души превращались в деревья, а безжизненные тела вечно висели на них, возбуждая у остальных обитателей ада ужас и отвращение:

Когда душа, ожесточась, порвет
Самоуправно оболочку тела,
Минос ее в седьмую бездну шлет.

Ей не дается точного предела;
Упав в лесу, как малое зерно,
Она растет, где ей судьба велела.

Зерно в побег и в ствол превращено;
И гарпии, кормясь его листьями,
Боль создают и боли той окно.

⁷ См.: Battin M. P., Maris R. W. (Eds.) Suicide and ethics // Suicide and Life—Threatening Behavior. 1983. Special issue.

Пойдем и мы за нашими телами,
Но их мы не наденем в Судный день:
Не наше то, что сбросили мы сами.

Мы их притащим в сумрачную сень,
И плоть повиснет на кусте колючем,
Где спит ее безжалостная тень.

(13, 94–106)

Жесткие установки христианства, закрепленные на Западе постановлением Тридентского собора (1568), официально признавшего на основании заповеди «Не убий» суицид убийством, почти на полтора тысячелетия сформировали соответствующие законодательные меры в большинстве государств Европы и определили доминирующее отношение общества к самоубийцам. Сегодня большинство христианских конфессий, хотя и не отходит от твердого этического кодекса по отношению к суицидам, но на практике стремится проявлять толерантность и учитывать глубинные психологические причины и социальные факторы самоубийств. Протестантский теолог Дитрих Бонгеффер, расстрелянный нацистами в тюрьме, осуждал суицид как грех, совершая который, человек отрицает Бога. И все же он не распространял это на военнопленных, жертв холокоста или концентрационных лагерей.

Эпоха *Возрождения* стала возрождением и для взглядов античных философов на самоубийство, прежде всего в смысле более взвешенного отношения к нему по сравнению с порой средневековья. В «Опытах» французского мыслителя Мишеля Монтеня (1533–1592) эта проблема становится не только экскурсом в античность, но и оправданием допустимости самоубийства в психологическом смысле («По—моему, невыносимые боли и опасения худшей смерти являются вполне оправданными побуждениями к самоубийству»,⁸ — пишет он в главе «Обычай острова Кеи») и в правовой плоскости («Подобно тому, как я не нарушаю законов, установленных против воров, когда уношу то, что принадлежит мне, или сам беру у себя кошелек, и не являюсь поджигателем, когда жгу свой лес, точно так же я не подлежу законам против убийц, когда лишаю себя жизни»⁹).

Вслед за Монтенем христианскую апологию самоубийства, трактат «Биатанатос», создает английский поэт и мыслитель, родоначальник «метафизической школы» Джон Донн (1572–1631), завещавший опубликовать его только после своей смерти.

Новое время продолжило традицию толерантного отношения к суициду, что нашло классическое выражение в знаменитом эссе английского философа Дэвида Юма (1711–1776) «О самоубийстве». С позиций разумного скептицизма Юм досконально исследовал мир нашего опытного знания как необходимую основу для любых возможных умозрительных обобщений и, разумеется, не мог пройти мимо суицида как значимой части человеческого опыта.

Интересна история его появления на свет, совершенно определенно характеризующая отношение тогдашнего британского общества к обсуждаемой проблеме. Написанное между 1755 и 1757 годами для сборника философских эссе, оно по совету друзей было изъято Юмом уже во время печатания из—за опасности преследований со стороны духовенства пресвитерианской Шотландии (отношение которого к Юму и без того было критическим — ему так и не удалось реализовать академическую карьеру у себя на родине). Оставшиеся двадцать лет жизни Юм проявлял большое беспокойство, что некоторые оттиски могли сохраниться и оказаться в обращении, и опубликовано это эссе было только после смерти автора, да и то анонимно.

⁸ Монтень М. Опыты. В 3 т. — М.: Терра, 1996, т. 1, с. 324.

⁹ Там же, с. 313.

Лишь Полю Гольбаху удалось при жизни Юма опубликовать французский перевод этого произведения. Не менее любопытна история его публикации в России. Напечатанное в 1908 году в пору расцвета русской суицидологической мысли, оно до 1996 года ни разу не удостоилось переиздания.

Юм полагал, что вопрос о самоубийстве несколько не противоречит промыслу Божьему. Его закон проявляется не в отдельных событиях, а только в общей гармонии. Все события производятся силами, дарованными Богом, а потому и всякое событие одинаково важно в беспредельной вечности. Добровольно прекращающий свою жизнь человек вовсе не действует против воли Божьей, его промысла и не нарушает мировой гармонии. После нашей смерти элементы, из которых мы состоим, продолжают служить мировому прогрессу.

Закономерен и интерес *немецкой классической философии* к проблеме самоубийства. Критический гений Иммануила Канта (1724–1804) здесь дал сбой, и, по сути, великий немецкий философ продолжил традицию Фомы Аквинского, заявив, что самоубийство является оскорблением человечества (1788). Очевидно, проблема суицида досадным образом нарушала логическую и эстетическую целесообразность в природе и человеке. Для философов, которые стремились к созданию всеохватывающих и логически ясных систем, основанных на синтезирующих принципах разума, в лучшем случае был характерен взгляд свысока на такие феномены опыта, как самоубийство, упрямо не желающие ложиться в прокрустово ложе мыслительных обобщений. Кант оправдывал абсолютный моральный запрет на самоубийства ввиду присущего этому акту внутреннего противоречия: мы не можем предпринимать попытки улучшить свою участь путем полного саморазрушения; самоубийство – это эгоистический акт, поэтому оно парадоксально и на основании логики является актом поражения. Функцией чувства любви к самому себе является продолжение жизни, и она входит в противоречие с собой, если приводит к самоуничтожению. В этих рассуждениях нельзя не усмотреть амбивалентности – наличия двух несовместимых целей, нередко проявляющихся в акте добровольного ухода из жизни: желания умереть и желания улучшить свою жизнь.

Иначе рассуждал Артур Шопенгауэр (1788–1860) (ему принадлежит фраза: «Великие истины рождаются в сердце»¹⁰), кого по степени личного отношения к проблеме вполне можно было бы отнести к «оставшимся в живых». Есть все основания предполагать, что тяжелая инвалидность отца, в конце концов приведшая его к смерти, была следствием его попытки добровольного ухода из жизни и, разумеется, семейным «скелетом в шкафу». А драматические перипетии собственной личной истории сделали одиночество для философа естественным состоянием и породили отношение к жизни, в которой невозможно счастье и торжествует зло и бессмыслица («...история каждой жизни – это история страданий, ибо жизненный путь каждого обыкновенно представляет собой сплошной ряд крупных и мелких невзгод»¹¹). Если отрицается «воля к жизни», то возникает экзистенциальная вина, которая, усугубляясь, ведет к различным степеням самоотрицания человеческой самости вплоть до самой кардинальной. Последняя иллюстрируется примером гетевской Гретхен. Но в то же время только в самом человеке, в бездне его жизненного неблагополучия и неизбывных страданий берут начало надежда и сочувствие. Феноменологическая отзывчивость Шопенгауэра способствовала тому, что лучшие страницы «Мира как воли и представления» посвящены его мыслям о природе самоубийства. В данную книгу включены отрывки из менее известного сочинения философа – «Новые паралипомены».

Поводом для размышлений Ф. М. Достоевского над проблемой самоубийства в «Дневнике писателя» за 1876 год послужило самоубийство в декабре 1875 года во Флоренции 17-летней Елизаветы Герцен, дочери А. И. Герцена и Н. А. Тучковой—Огаревой, покончив-

¹⁰ Schopenhauer A. Welt und Mensch / Aus wahl aus dem Gesamtwerk von A. Hubsher. – Stuttgart, 1976, S. 17.

¹¹ Шопенгауэр А. Собр. соч. В 5 т. – М.: Московский Клуб, 1992, т. 1, с. 308.

шей с собой из—за неразделенной любви к 44-летнему французскому этнографу—социологу Шарлю Летурно. Это чувство резко обострило и без того напряженные внутрисемейные отношения и породило гиперболизированно трагическое восприятие у нервной и впечатлительной девушки.

Ее «аристократически—развратному» уходу из жизни, который возмутил писателя, он противопоставляет «нравственно—простонародное» – кроткое, смиренное самоубийство швеи, выбросившейся из окна с иконой (позже она послужила писателю прототипом главной героини повести «Кроткая»). Кроме того, он моделирует внутренний монолог «самоубийцы от скуки», «идейного самоубийцы», разочаровавшегося в мироздании, который вполне мог бы принадлежать его современнику – Филиппу Майнлендеру (1841–1876). Этот немецкий философ создал теорию, трактующую историю вселенной как агонию разлагающихся частиц умершего Бога, и обосновал необходимость собственного добровольного ухода из жизни, реализовав его на следующий день после выхода его главного труда.

С шопенгауэровской традицией, влиянием Серена Кьеркегора (1813–1855) (у него есть парадоксальное суждение: «Да, я не господин своей судьбы, а лишь нить, вплетенная в общую ткань жизни! Но если я не могу ткать сам, то могу обрезать нить»¹²) и Ф. М. Достоевского связана и поглощенность *экзистенциализма* добровольным уходом из жизни. Основным предметом философской рефлексии становится абсурд существования – «состояние души, когда пустота становится красноречивой, когда рвется цепь каждодневных действий, и сердце впустую ищет утерянное звено»,¹³ а единственной по—настоящему достойной внимания философской проблемой – проблема самоубийства.

Карл Ясперс (1883–1969) изучал проблему самоубийства профессионально, сначала как психиатр, а затем как экзистенциальный философ. К 30 годам он написал «Общую психопатологию» (1913), ставшую энциклопедией психиатрической мысли и определившую на многие десятилетия магистральные пути ее развития в современном мире. В ней он утверждает, что большинство самоубийств совершается не душевнобольными, а аномально предрасположенными лицами (психопатами). Позднее, став знаменитым психиатром, он круто меняет судьбу и сосредотачивается на философии. К. Ясперс доказывает тогдашнему академическому истеблишменту право быть философом, более десятилетия работая над трехтомным сочинением «Философия», вышедшим в 1931–1932 годах.

Несмотря на солидный объем, в нем отсутствует изложение философской системы в академическом смысле слова, а систематизированы и упорядочены идеи и размышления, составлявшие содержание экзистенциального философствования. О самоубийстве Ясперс пишет именно в этом стиле, окрашенном личной интонацией свободного размышления, лишённого стремления вывести все содержание мысли из единого общего принципа. Для Ясперса самоубийство связано с *ситуацией* как неповторимой констелляцией событий, которые определяют уникальность конкретной человеческой судьбы.

Психологический этюд Н. А. Бердяева (1874–1948) «О самоубийстве» написан философом в 1931 году за границей. Это реакция человека, мыслителя и христианина на участвовавшие случаи суицидов в среде русской эмиграции, прежде всего молодежи. Настроения русских эмигрантов, правда, более поздние, ярко выражены в стихотворении Ивана Елагина:

Топчемся, чужую грязь меся.
Тошно под луною человеку.
Отвязаться бы от всех и вся!
С темного моста да прямо в реку!

¹² Кьеркегор С. Наслаждение и долг. – Киев: Airland, 1994, с. 40.

¹³ Камю А. Миф о Сизифе // Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1989, с. 229.

Гибнет осень от кровопотерь,
Улица пустынна и безлиства.
И не все ли мне равно теперь —
Грех или не грех самоубийства,

Если жизнь тут больше не при чем,
Если все равно себя разрушу,
Если все равно параличом
Мне уже давно разбило душу.¹⁴

Н. А. Бердяев, будучи непримиримым противником самоубийства, считал, что его порождает бессмысленное и бесцельное страдание и безнадежность. Страдание может получить смысл только в религиозном отношении к жизни, которое дает человеку духовную силу. Позднее в опыте философской автобиографии «Самопознание» Н. А. Бердяев возвращается к темам экзистенциальной скуки, тоски и страдания, побуждающим человека искать инфернального небытия.

Поскольку историко—феноменологические тексты, представленные в данном разделе, принадлежат перу отечественных писателей, врачей и юристов, имеет смысл кратко остановиться на отношении к самоубийству в России.

В *Древней Руси* до принятия христианства, как свидетельствует Н. М. Карамзин в «Истории государства Российского», «славянки не хотели переживать мужей и добровольно сожигались на костре с их трупами. Вдова живая бесчестила семейство. Думают, что сие варварское обыкновение, истребленное только благодетельным учением Христианской Веры, введено было славянами (равно как и в Индии) для отвращения тайных мужеубийств».¹⁵ Позднее умерших не по—христиански (то есть посредством самоубийства) хоронили по давнему языческому обычаю отдельно от остальных, под домашним порогом, нередко пробив грудь самоубийцы осиновым колом, что являлось защитой от нечистой силы.

Приравненное к убийству на основании 14—го канонического ответа Тимофея Александрийского, утвержденного VI Вселенским Собором (680–681), самоубийство рассматривалось православием как уголовно наказуемое деяние и по церковному праву каралось лишением христианского погребения, если только оно не случалось «вне ума» («священнослужитель должен рассудить, подлинно ли, будучи вне ума, соделал сие»)¹⁶ Законом предусматривалась недействительность духовных завещаний самоубийц. Однако уголовному наказанию не подлежали суицидальные действия, совершаемые по соображениям чести и самопожертвования, а также произведенные в состоянии умопомешательства. При Петре I в Военном и Морском Артикуле появилась суровая запись, касающаяся самоубийц: «Ежели кто себя убьет, то мертвое тело привязать к лошади, волоча по улицам, за ноги подвесить, дабы, *смотря на то*, другие такого беззакония над собой чинить не отважились».¹⁷

Перу выдающегося судебного оратора, ученого—правоведа, талантливого писателя и общественного деятеля А. Ф. Кони (1844–1827) принадлежит очерк «Самоубийство в законе и жизни» (1923), основанный на опыте его работы в суде и философском осмыслении проблемы. Рост числа самоубийств (кстати, именно это побудило Кони в период НЭПа подытожить

¹⁴ Елагин И. Собр. соч. В 2 т. – М.: Согласие, 1998, т. 1, с. 104.

¹⁵ Карамзин Н. М. История государства Российского. В 12 т. – М.: Наука, 1989, т. 1, с. 65.

¹⁶ См.: Таганцев Н. С. О преступлениях против жизни по русскому праву. – СПб., 1873, т. 2, с. 408; Паперно И. Самоубийство как культурный институт. —М.: Новое литературное обозрение, 1999.

¹⁷ Таганцев Н. С. Указ соч., с. 409–410.

свои размышления) он соотносил с социальными явлениями. Анализируя вопрос о карательных мерах в отношении самоубийства, А. Ф. Кони считал их вопиющими в своей нецелесообразности. Следует отметить, что именно благодаря его усилиям, положению и авторитету в императорской России ставился вопрос о правомерности уголовного наказания суицидентов за отсутствием состава преступления, что и было учтено в последней редакции «Уложения о наказаниях» (1903), которое, к сожалению, в силу своей исключительной либеральности так и не было утверждено и осталось в виде проекта. Важно отметить, что А. Ф. Кони был одним из пионеров того, что сегодня именуется постмортальной аутопсией – изучением мотивов, особенностей личности и поведения суицидента, в том числе с использованием психологического анализа посмертных записок.

В русской истории описаны случаи коллективных самоубийств последователей ересей и расколоучений по религиозным мотивам. Например, в конце XVII—начале XVIII века под влиянием знаменитого «отрицательного писания инок Ефросина» произошло около 40 следовавших одно за другим массовых самосожжений («гарей») и самоутоплений, в которых погибло до 20 тысяч старообрядцев. Отдельными эпизодами это повторялось и в XIX веке: например, известное коллективное самоубийство в Терновских хуторах, когда во избежание наложения «антихристовой печати» (проведения всероссийской переписи) более 20 человек, большей частью старообрядцев, покончило с собой, живьем закопав себя в землю.

Это событие и ему подобные исторические прецеденты стали предметом феноменологического анализа известного отечественного психиатра, профессора психиатрии и нервных болезней Киевского университета Св. Владимира И. А. Сикорского «Эпидемические вольные смерти и смертоубийства в Терновских хуторах (близ Тирасполя). Психологическое исследование». Он связывал проблему суицида с такими понятиями, как «борьба инстинкта жизни с инстинктом смерти», и подчеркивал значение «нравственных директив» в принятии индивидуальным решением о самоубийстве, отмечал влияние прочности традиционных устоев в обществе на распространенность суицидального поведения. И. А. Сикорский (1842–1919) считал, что, повторяясь в ходе русской истории, массовые самоубийства среди членов религиозных сект представляют собой психические заболевания эпидемического характера. Интересно, что противником этой интерпретации был русский философ Василий Розанов, в представлении которого вольные смерти крестьян—старообрядцев были метафизическим явлением – трагическим действием заблуждающейся веры, направленным на спасение души. С брошюрой Сикорского Розанов поступил следующим образом: полностью перепечатал ее под своим именем в книге «Темный Лик. Метафизика христианства» (1910), снабдив собственными откровенно ядовитыми и ироническими многословными подстрочными комментариями.

Следует отметить, что во второй половине XIX века с легкой руки корифеев французской психиатрии, прежде всего Этьенна Эскироля, господствовала точка зрения о существовании суицидомании, то есть убеждение, что только в состоянии безумия человек может покушаться на свою жизнь и что все самоубийцы – душевнобольные. С другой стороны, достаточным вниманием пользовалась концепция итальянского ученого Чезаре Ломброзо о связи гениальности и помешательства. Хотя обе теории и грешили против истины, тем не менее благодаря им у психиатров возник интерес к патографии – анализу психических расстройств у известных исторических личностей.

Образцами этого психобиографического жанра являются исследовательские очерки выдающегося русского психиатра П. И. Ковалевского (1849–1923) «Саул, царь Израилев» и «Людвиг II, король Баварский», написанные в самом начале XX века. П. И. Ковалевский анализирует динамику психического состояния и суицидального поведения этих венценосцев. Стиль П. И. Ковалевского характеризуется не только строгостью научных обобщений, глубиной анализа, но и тонкой исторической наблюдательностью и художественностью воссоздания исторических образов. Одаренный ученый—психиатр, основатель первого в России психиатриче-

ского журнала, П. И. Ковалевский одновременно пользовался авторитетом в кругах широкой интеллигенции и как историк, опубликовавший несколько монографий («Завоевание Кавказа Россией», «История Малороссии» и др.).

В конце XVIII века с проникновением в Россию сентиментализма (прежде всего культа «Страданий юного Вертера»), культурных тенденций европейского Просвещения и социальных веяний Французской революции самоубийство становится темой литературы и философии, культурно значимой моделью поведения. Отечественных документальных источников романтической эпохи не так много, поэтому особый интерес представляют изыскания Ю. М. Лотмана (1922–1993) по проблеме суицидального поведения той поры, которое является для него одной из знаковых культурно—исторических ситуаций.

В начале XX века эпидемия самоубийств затронула в очередной раз не только русское общество, но и русскую литературу. В определенной мере эталоном стал роман Михаила Арцыбашева «У последней черты» (1911), произведение искреннее и неординарное, в котором все значительные герои кончают с собой. Но и во многих других произведениях поэтов и писателей серебряного века (и в решении ими самими сложных жизненных ситуаций) самоубийству уделяется повышенное внимание. Одни проходят через попытки добровольного ухода из жизни, причем кое—кто неоднократно (К. Бальмонт, Н. Гумилев, М. Кузмин, А. Белый, М. Волошин, О. Мандельштам), другие доводят их до трагического финала (М. Цветаева), над третьими витает дух саморазрушения их близких (Ф. Сологуб). Типичная для той эпохи ситуация описана Владиславом Ходасевичем (1886–1939) в мемуарной книге «Некрополь» (1939) в главе «Конец Ренаты», где повествуется о трагической судьбе русской поэтессы Нины Петровской, игравшей заметную роль в литературе и в жизни видных представителей серебряного века.

Рефлексия по поводу более поздних событий и судеб поэтов, ставших символами трагедии русской литературы в послеоктябрьскую эпоху (В. Маяковского, С. Есенина, М. Цветаевой, П. Яшвили), представлена небольшим фрагментом из очерка Бориса Пастернака (1890–1960) «Люди и положения» (1956), который содержит несравненный по глубине анализ психического состояния человека, стоящего у последней черты.

Поиску экзистенциального смысла и отражению кризиса личности в художественных текстах посвящено исследование известного современного психолога, поэта и публициста Бориса Херсонского.

А. Н. Моховиков

Луций Анней Сенека ПРАВСТВЕННЫЕ ПИСЬМА К ЛУЦИЛИЮ

ПИСЬМО 4

Сенека приветствует Луцилия!

Упорно продолжай то, что начал, и поспеши сколько можешь, чтобы подольше наслаждаться совершенством и спокойствием твоей души. Есть наслаждение и в том, чтобы совершенствовать ее, чтобы стремиться к спокойствию; но совсем иное наслаждение ты испытываешь, созерцая дух, свободный от порчи и безупречный. Ты, верно, помнишь, какую радость испытал ты, когда, сняв претексту, надел на себя мужскую тогу и был выведен на форум? Еще большая радость ждет тебя, когда ты избавишься от ребяческого нрава и философия запишет тебя в число мужей. Ведь и до сей поры остается при нас уже не ребяческий возраст, но, что гораздо опаснее, ребячливость. И это тем хуже, что нас чтут как стариков, хотя в нас живут пороки мальчишек, и не только мальчишек, но и младенцев; ведь младенцы боятся вещей пустяшных, мальчишки – мнимых, а мы – и того и другого. Сделай шаг вперед – и ты поймешь, что многое не так страшно как раз потому, что больше всего пугает. Никакое зло не велико, если оно последнее. Пришла к тебе смерть? Она была бы страшна, если бы могла оставаться с тобою, она же или не явится, или скоро будет позади, никак не иначе.

«Нелегко, – скажешь ты, – добиться, чтобы дух презрел жизнь». Но разве ты не видишь, по каким ничтожным причинам от нее с презреньем отказываются? Один повесился перед дверью любовницы, другой бросился с крыши, чтобы не слышать больше, как бушует хозяин, третий, пустившись в бега, вонзил себе клинок в живот, только чтобы его не вернули. Так неужели, по—твоему, добродетели не под силу то, что делает чрезмерный страх? Спокойная жизнь – не для тех, кто слишком много думает о ее продлении, кто за великое благо считает пережить множество консульств. Каждый день размышляй об этом, чтобы ты мог равнодушно расстаться с жизнью, за которую многие цепляются и держатся, словно уносимые потоком – за колючие кусты и острые камни. Большинство так и мечется между страхом смерти и мучениями жизни; жалкие, они и жить не хотят, и умереть не умеют. Сделай же свою жизнь приятной, оставив всякую тревогу о ней. Никакое благо не принесет радости обладателю, если он в душе не готов его утратить, и всего безболезненней утратить то, о чем невозможно жалеть, утратив. Поэтому укрепляй мужеством и закаляй свой дух против того, что может произойти даже с самыми могущественными. Смертный приговор Помпею вынесли мальчишка и скопец. Крассу – жестокий и наглый парфянин. Гай Цезарь приказал Лепиду подставить шею под меч трибуна Декстра – и сам подставил ее под удар Хереи. Никто не был так высоко вознесен фортуной, чтобы угрозы ее были меньше ее попустительства. Не верь затишью: в один миг море взволнуется и поглотит только что резвившиеся корабли. Подумай о том, что и разбойник и враг могут приставить тебе меч к горлу. Но пусть не грозит тебе высокая власть – любой раб волен распоряжаться твоей жизнью и смертью. Я скажу так: кто презирает собственную жизнь, тот стал хозяином твоей. Вспомни пример тех, кто погиб от домашних козней, изведенный или силой, или хитростью, – и ты поймешь, что гнев рабов погубил не меньше людей, чем царский гнев. Так какое тебе дело до могущества того, кого ты боишься, если то, чего ты боишься, может сделать всякий? Вот ты попал в руки врага, и он приказал вести тебя на смерть. Но ведь и так идешь ты к той же цели! Зачем же ты обманываешь себя самого, будто лишь сейчас постиг то, что всегда с тобой происходило? Говорю тебе: с часа твоего рождения идешь ты к смерти. Об этом должны мы думать и помнить постоянно, если хотим безмятежно дожидаться последнего часа, страх перед которым лишает нас покоя во все остальные часы.

А чтобы мог я закончить письмо, – узнай, что приглянулось мне сегодня (и это сорвано в чужих садах): «Бедность, сообразная закону природы, – большое богатство». Знаешь ты, какие границы ставит нам этот закон природы? Не терпеть ни жажды, ни голода, ни холода. А чтобы прогнать голод и жажду, тебе нет нужды обивать надменные пороги, терпеть хмурую спесь или оскорбительную приветливость, нет нужды пытаться счастье в море или идти следом за войском. То, чего требует природа, доступно и достижимо, потеем мы лишь ради избытка. Ради него изнашиваем мы тогу, ради него старимся в палатках лагеря, ради него заносит нас на чужие берега. А то, чего с нас довольно, у нас под рукой. Кому и в бедности хорошо, тот богат. Будь здоров.

ПИСЬМО 69

Сенека приветствует Луцилия!

Мне не хочется, чтобы ты странствовал и скакал с места на место: во—первых, частые поездки – признак нестойкости духа, который, пока не перестанет блуждать да озираться вокруг, не сможет утвердиться в привычке к досугу. Чтобы держать в узде душу, сперва остави бег тела. Во—вторых, чем длительнее лечение, тем больше от него пользы; нельзя прерывать покой, приносящий забвение прежней жизни. Дай глазам отучиться смотреть, дай ушам привыкнуть к спасительному слову. Как только ты двинешься с места, так еще по пути что—нибудь попадется тебе – и вновь распалит твои вожделения. Как влюбленным, чтобы избавиться от своей страсти, следует избегать всего напоминающего о любимом теле (ведь ничто не крепнет легче, чем любовь), так всякому, кто хочет погасить в себе прежние вожделения, следует отвращать и взор и слух от покинутого, но еще недавно желанного. Страсть сразу поднимает мятеж: куда она ни обернется, тотчас же увидит рядом какую—нибудь приманку для своих притязаний. Нет зла без задатка: жадность сулит деньги, похотливость – множество разных наслаждений, честолюбие – пурпур, и рукоплескания, и полученное через них могущество, и все, что это могущество может. Пороки соблазняют тебя наградой; а тут тебе придется жить безвозмездно. И за сто лет нам не добиться, чтобы пороки, взращенные столь долгим потворством, покорились и приняли ярмо, а если мы еще будем дробить столь короткий срок – и подавно. Только непрерывное бдение и усердие доводят любую вещь до совершенства, да и то с трудом.

Если хочешь меня послушаться, думай об одном, готовься к одному: встретить смерть, а если подскажут обстоятельства, и приблизить ее. Ведь нет никакой разницы, она ли к нам придет, мы ли к ней. Внуши себе, что лжет общий голос невежд, утверждающих, будто «самое лучшее – умереть своей смертью». Чужой смертью никто не умирает. И подумай еще вот о чем: никто не умирает не в свой срок. Своего времени ты не потеряешь: ведь что ты оставляешь после себя, то не твое. Будь здоров.

ПИСЬМО 70

Сенека приветствует Луцилия!

После долгого перерыва я вновь увидел твои Помпеи, а с ними и свою юность. Мне казалось, будто все, что я там делал в молодости, —

а было это совсем недавно, – я могу делать и сейчас. Но вся жизнь, Луцилий, у нас уже за кормой; и как в море, по словам нашего Вергилия, «отступают селенья и берег», так в быстром течении времени сперва скрывается из виду детство, потом юность, потом пора между молодостью и старостью, пограничная с обеими, и, наконец, лучшие годы самой старости; а недавно завиднелся общий для рода человеческого конец. Мы в безумии считаем его утесом, а это – пристань, и войти в нее иногда надо поспешить и никогда нельзя отказываться. А если кого занесет туда в молодые годы, жаловаться на это – все равно что сетовать на быстрое плаванье. Ты ведь сам знаешь: одного обманывают и держат ленивые ветерки, изводит долгой скукой

затишье, другого быстрее быстрого несет стойкий ветер. То же и с нами: одних жизнь скоро— скоро привела туда, куда они пришли бы, даже если бы медлили, других долго била и допекала. Впрочем, как ты знаешь, за это не всегда нужно держаться: ведь благо – не сама жизнь, а жизнь достойная. Так что мудрый живет не сколько должен, а сколько может. Он посмотрит, где ему предстоит проводить жизнь, и с кем, и как, и в каких занятиях, он думает о том, как жить, а не сколько прожить. А если встретится ему много отнимающих покой тягот, он отпускает себя на волю, и не в последней крайности: чуть только фортуна становится подозрительной, он внимательно озирается, – не сегодня ли надо все прекратить. На его взгляд, нет разницы, положить ли конец или дожидаться его, раньше он придет или позже: в этом мудрец не видит большого урона и не боится. Что капает по капле, того много не потеряешь. Раньше ты умрешь или позже – неважно, хорошо или плохо, – вот что важно. А хорошо умереть – значит, избежать опасности жить дурно. По—моему, только о женской слабости говорят слова того родосца, который, когда его по приказу тирана бросили в яму и кормили, как зверя, отвечал на совет отказаться от пищи: «Пока человек жив, он на все должен надеяться». Даже если это правда, не за всякую цену можно покупать жизнь. Пусть награда и велика и надежна, я все равно не желаю прийти к ней через постыдное признание моей слабости. Неужели я буду думать о том, что живому фортуна все может сделать, а не о том, что с умеющим умереть ей ничего не сделать?

Но иногда мудрец и в близости смерти, и зная о назначенной казни не приложит к ней рук. Глупо умирать от страха смерти. Пусть приходит убийца – ты жди! Зачем ты спешишь навстречу? Зачем берешь на себя дело чужой жестокости? Завидуешь ты своему палачу, что ли? Или щадишь его? Сократ мог покончить с собой, воздерживаясь от пищи, и умереть от голода, а не от яда, а он тридцать дней провел в темнице, ожидая смерти, – не в мыслях о том, что все может случиться, не потому, что такой долгий срок вмещает много надежд, но чтобы не нарушать законов, чтобы дать друзьям напоследок побывать с Сократом. Что было бы глупее, чем презирать смерть, а яда бояться?

Скрибония, женщина почтенная, была теткою Друза Либона, юноши столь же опрометчивого, сколь благородного: он надеялся на большее, чем можно было надеяться не только в его, но и в любой век. Когда его больным вынесли из сената на носилках, причем вынос сопровождало не так уж много людей (все близкие бесчестно отступились от него, уже не осужденного, а как бы казненного), он стал советовать: самому ли ему принять смерть или дожидаться ее. Тогда Скрибония сказала: «Какое тебе удовольствие делать чужое дело?» Но Друза она не убедила, он наложил на себя руки, и не без причины: ведь если обреченный на смерть еще жив на третий или четвертый день, то он, по мнению врага, делает не свое дело.

Нельзя вынести общего суждения о том, надо ли, когда внешняя сила угрожает смертью, спешить навстречу или дожидаться; ведь есть много такого, что тянет и в ту и в другую сторону. Если одна смерть под пыткой, а другая – простая и легкая, то почему бы за нее не ухватиться? Я тщательно выберу корабль, собираясь отплыть, или дом, собираясь в нем поселиться, – и так же я выберу род смерти, собираясь уйти из жизни. Помимо того, жизнь не всегда тем лучше, чем дольше, но смерть всегда чем дольше, тем хуже. Ни в чем мы не должны угождать душе так, как в смерти: пускай куда ее тянет, там и выходит; выберет ли она меч, или петлю, или питье, закупоривающее жилы, – пусть порвет цепи рабства, как захочет. Пока живешь, думай об одобрении других; когда умираешь – только о себе. Что тебе по душе, то и лучше.

Глупо думать так: «Кто—нибудь скажет, что мне не хватило мужества, кто—нибудь другой – что я испугался, а еще кто—нибудь – что можно выбрать смерть благороднее». – Неужели тебе невдомек, что тот замысел в твоих руках, к которому молва не имеет касательства? Смотри на одно: как бы побыстрее вырваться из—под власти фортуны, – а не то найдутся такие, что осудят твой поступок. Ты встретишь даже мудрецов по ремеслу, утверждающих, будто нельзя творить насилие над собственной жизнью, и считающих самоубийство нечестьем: должно, мол, ожидать конца, назначенного природой. Кто так говорит, тот не видит, что сам

себе преграждает путь к свободе. Лучшее из устроенного вечным законом – то, что он дал нам один путь в жизнь, но множество – прочь из жизни. Мне ли ждать жестокости недуга или человека, когда я могу выйти из круга муки, отбросить все бедствия? В одном не вправе мы жаловаться на жизнь: она никого не держит. Не так плохо обстоят дела человеческие, если всякий несчастный несчастен только через свой порок. Тебе нравится жизнь? Живи! Не нравится – можешь вернуться туда, откуда пришел. Чтобы избавиться от головной боли, ты часто пускал кровь; чтобы сбросить вес, отворяют жилу; нет нужды рассекать себе всю грудь – ланцет открывает путь к великой свободе, ценою укола покупается безмятежность.

Что же делает нас ленивыми и бессильными? Никто из нас не думает, что когда—нибудь да придется покинуть это жилище. Так старых жильцов привычка к месту делает снисходительными и удерживает в доме, как бы плохо в нем ни было. Хочешь быть свободным наперекор этой плоти? Живи так, словно завтра переедешь! Всегда имей в виду, что рано или поздно лишишься этого жилья, – и тогда ты мужественней перенесешь неизбежность выезда. Но как вспомнить о близком конце тем, чьи желанья не имеют конца? А ведь о нем—то нам необходимо всего размышлять, потому что подготовка к другому может оказаться и лишней. Ты закалил дух против бедности? А богатства остались при тебе. Мы вооружились, чтобы презирать боль? А счастье здорового и не узнавшего увечий тела никогда не потребует от нас применить на деле эту добродетель. Мы убедили себя, что нужно стойко выносить тоску по утрате? Но всем, кого мы любили, фортуна продлила дни дольше наших. И лишь готовности к одному потребует с нас день, который придет непременно.

И напрасно ты думаешь, что только великим людям хватало твердости взломать затворы человеческого рабства. Напрасно ты считаешь, что никому этого не сделать, кроме Катона, который, не испустив дух от меча, руками открыл ему дорогу. Нет, люди низшего разряда в неодолимом порыве убегали от всех бед и, когда нельзя было ни умереть без затруднений, ни выбрать орудие смерти по своему разумению, хватали то, что под рукой, своей силой превращая в оружие предметы, по природе безобидные. Недавно перед боем со зверями один из германцев, которых готовили для утреннего представления, отошел, чтобы опорожниться – ведь больше ему негде было спрятаться от стражи; там лежала палочка с губкой для подтирки срамных мест; ее—то он засунул себе в глотку, силой перегородив дыхание, и от этого испустил дух. – «Но ведь это оскорбление смерти!» – Пусть так! – «До чего грязно, до чего непристойно!» – Но есть ли что глупее, чем привередливость в выборе смерти? Вот мужественный человек, достойный того, чтобы судьба дала ему выбор! Как храбро пустил бы он в ход клинок! Как отважно бросился бы в пучину моря или под обрыв утеса! Но, лишенный всего, он нашел и должный способ смерти, и орудие; знай же, что для решившегося умереть нет иной причины к промедленью, кроме собственной воли. Пусть как угодно судят поступок этого решительного человека, лишь бы все согласилось, что самая грязная смерть предпочтительней самого чистого рабства. Однажды приведя низменный пример, я это и продолжу: ведь каждый большего потребует от себя, когда увидит, что презрели даже самые презираемые люди. Мы думаем, что Катоны, Сципионы и все, о ком мы привыкли слушать с восхищением, для нас вне подражания; а я покажу, что на играх со зверями отыщется не меньше примеров этой добродетели, чем среди вождей гражданской войны. Недавно, когда бойцов везли под стражей на утреннее представление, один из них, словно клюя носом в дремоте, опустил голову так низко, что она попала между спиц, и сидел на своей скамье, пока поворот колеса не сломал ему шею: и та же повозка, что везла его на казнь, избавила его от казни.

Кто захочет, тому ничто не мешает взломать дверь и выйти. Природа не удержит нас заперти; кому позволяет необходимость, тот пусть ищет смерти полегче; у кого в руках довольно орудий, чтобы освободить себя, тот пусть выбирает; кому не представится случая, тот пусть хватается за ближайшее как за лучшее, хоть бы оно было и новым и неслыханным. У кого хватит мужества умереть, тому хватит и изобретательности. Ты видел, как последние рабы, если

их допечет боль, схватываются и обманывают самых бдительных сторожей? Тот велик, кто не только приказал себе умереть, но и нашел способ. Я обещал привести тебе в пример много людей того же ремесла. Когда было второе потешное сражение кораблей, один из варваров тот дротик, что получил для боя с врагом, вонзил себе в горло. – «Почему бы мне, – сказал он, – не избежать сразу всех мук, всех помыкательств? Зачем ждать смерти, когда в руках оружие?» – И зрелище это было настолько же прекрасней, насколько благороднее, чтобы люди учились умирать, чем убивать.

Так неужели того, что есть у самых потерянных и зловредных душ, не будет у людей, закаленных против этих бедствий долгими раздумьями, наставленных всеобщим учителем – разумом? Он нас учит, что рок подступает к нам по—разному, а кончает одним: так велика ли важность, с чего он начнет, если исход одинаков? Этот—то разум и учит, чтобы ты умирал, как тебе нравится, если это возможно, а если нет – то как можешь, схватившись за первое попавшееся средство, учинить над собой расправу. Стыдно красть, чтобы жить, красть, чтобы умереть, – прекрасно. Будь здоров.

ПИСЬМО 77

Сенека приветствует Луцилия!

Сегодня неожиданно показались в виду александрийские корабли, которые обычно высылаются вперед, чтобы возвестить скорый приход идущего вслед флота. Именуются они «посыльными». Их появление радует всю Кампанию: на молу в ПUTEОЛАХ стоит толпа и среди всей толпы кораблей различает по парусной оснастке суда из Александрии: им одним разрешено поднимать малый парус, который остальные распускают только в открытом море. Ничто так не ускоряет ход корабля, как верхняя часть паруса; она—то и толкает его всего сильнее. Поэтому, едва ветер крепчает и становится больше, чем нужно, рею приспускают: ведь по низу он дует слабее. Как только суда зайдут за Капрею и тот мыс, где Паллада глядит со своей скалистой вершины, все они поневоле должны довольствоваться одним парусом, – кроме александрийских, которые и приметны благодаря малому парусу.

Эта бегодня спешащих на берег доставила мне, ленивцу, большое удовольствие, потому что я должен был получить письма от своих, но не спешил узнать, какие новости о моих делах они принесут. Уже давно нет для меня ни убытка, ни прибыли. Даже не будь я стариком, мне следовало бы думать так, а теперь и подавно: ведь какую бы малость я ни имел, денег на дорогу у меня остается больше, чем самой дороги, – особенно с тех пор, как я вступил на такой путь, по которому нет необходимости пройти до конца. Нельзя считать путешествие совершенным, если ты остановился на полпути и не доехал до места; а жизнь не бывает несовершенной, если прожита честно. Где бы ты ни прервал ее, она вся позади, лишь бы хорошо ее прервать. А прервать ее часто приходится и не по столь уж важным причинам, так как и то, что нас держит, не так уж важно.

Туллий Марцеллин, которого ты хорошо знал, провел молодость спокойно, но быстро состарился и, заболев недугом хоть и не смертельным, но долгим, тяжким и многого требующим от больного, начал раздумывать о смерти. Он созвал множество друзей; одни, по робости, убеждали его в том же, в чем убеждали бы и себя, другие – льстивые и угодливые – давали такой совет, какой, казалось им, будет по душе сомневающемуся. Только наш друг—стоик, человек незаурядный и – говорю ему в похвалу те слова, которых он заслуживает, – мужественный и решительный, указал наилучший, на мой взгляд, выход. Он сказал: «Перестань—ка, Марцеллин, мучиться так, словно обдумываешь очень важное дело! Жить – дело не такое уж важное; живут и все твои рабы, и животные; важнее умереть честно, мудро и храбро. Подумай, как давно занимаешься ты все одним и тем же: еда, сон, любовь – в этом кругу ты и вертишься. Желать смерти может не только мудрый и храбрый либо несчастный, но и пересыщенный». Марцеллину нужен был, однако, не совет, а помощь: рабы не хотели ему повиноваться. Тогда наш друг прежде всего избавил их от страха, указав, что челяди грозит наказание, только когда

неясно, была ли смерть хозяина добровольной, а иначе так же дурно удерживать господина, как и убивать его. Потом он и самому Марцеллину напомнил, что человечность требует – так же как после ужина мы раздаем остатки стоящим вокруг стола – уделить хоть что—нибудь, когда жизнь окончена, тем, кто всю жизнь был нам слугою. Марцеллин был мягок душою и щедр, даже когда дело касалось его добра; он роздал плачущим рабам по небольшой толике денег и к тому же утешил их. Ему не понадобилось ни железа, ни крови: три дня он воздерживался от пищи, приказав в спальне повесить полог. Потом принесли ванну, в которой он долго лежал и, покуда в нее подливали горячую воду, медленно впадал в изнеможенье, – по собственным словам, не без некоторого удовольствия, какое обычно испытывают, постепенно теряя силы; оно знакомо нам, частенько теряющим сознание.

Я отступил от предмета ради рассказа, который будет тебе по душе, – ведь ты узнаешь из него, что кончина твоего друга была не тяжкой и не жалкой. Хоть он и сам избрал смерть, но отошел легко, словно выскользнул из жизни. Но рассказ мой был и не без пользы: нередко сама неизбежность требует таких примеров. Часто мы должны умереть – и не хотим умирать, умираем – и не хотим умирать. Нет такого невежды, кто не знал бы, что в конце концов умереть придется; но стоит смерти приблизиться, он отлынивает, дрожит и плачет. Разве не счел бы ты глупцом из глупцов человека, слезно жалующегося на то, что он еще не жил тысячу лет назад? Не менее глуп и жалующийся на то, что через тысячу лет уже не будет жить. Ведь это одно и то же: тебя не будет, как не было раньше. Время и до нас, и после нас не наше. Ты заброшен в одну точку; растягивай ее, – но до каких пор? Что ты жалуешься? Чего хочешь? Ты даром тратишь силы!

И не надейся мольбой изменить решенья всевышних!

Они тверды и неизменны, и направляет их великая и вечная необходимость. Ты пойдешь туда же, куда идет все. Что тут нового для тебя? Под властью этого закона ты родился! То же случилось и с твоим отцом, и с матерью, и с предками, и со всеми, кто был до тебя, и со всеми, кто будет после. Непобедимая и никакой силой не изменяемая череда связывает и влечет всех. Какая толпа умерших шла впереди тебя, какая толпа пойдет следом! Сколько их будет твоими спутниками! Я думаю, ты стал бы храбрее, вспомнив о многих тысячах твоих товарищей по смерти. Но ведь многие тысячи людей и животных испускают дух от бесчисленных причин в тот самый миг, когда ты не решаешься умереть. Неужто ты не думал, что когда—нибудь придешь туда, куда шел все время? Нет пути, который бы не кончился.

А теперь, по—твоему, я должен привести тебе в пример великих людей? Нет, я приведу ребенка. Жива память о том спартанце, еще мальчишке, который, оказавшись в плену, кричал на своем дорийском наречии: «Я не раб!»—и подтвердил эти слова делом. Едва ему приказали выполнить унижительную рабскую работу – унести непристойный горшок – как он разбил себе голову о стену. Вот как близко от нас свобода. И при этом люди рабствуют! Разве ты не предпочел бы, чтобы твой сын погиб, а не старился в праздности? Есть ли причина тревожиться, если и дети могут мужественно умереть? Думай сколько хочешь, что не желаешь идти вслед, – все равно тебя поведут. Так возьми в свои руки то, что сейчас в чужой власти! Или тебе недоступна отвага того мальчишки, не под силу сказать: «Я не раб»? Несчастный, ты раб людей, раб вещей, раб жизни. Ибо жизнь, если нет мужества умереть, – это рабство.

Есть ли ради чего ждать? Все наслаждения, которые тебя удерживают и не пускают, ты уже перепробовал, ни одно для тебя не ново, ни одно не приелось и не стало мерзко. Вкус вина и меда тебе знаком, и нет разницы, сто или тысяча кувшинов пройдет через твой мочевого пузырь: ты ведь – только цедило. Ты отлично знаешь, каковы на вкус устрицы, какова красная бородка; твоя жадность к наслаждениям не оставила тебе на будущее ничего неотведанного. А ведь как раз от этого ты и отрываешься с наибольшей неохотой. С чем еще тебе больно расстаться? С друзьями, с родиной? Да ценишь ли ты ее настолько, чтобы ради нее позже поужинать? С солнцем? Да ты, если бы мог, погасил бы само солнце. Что ты сделал достойное его

света? Признайся, не тоска по курии, по форуму, по самой природе делает тебя таким медлительным, когда нужно умереть: тебе неохота покидать мясной рынок, на котором ты ничего не оставил. Ты боишься смерти; да и как тебе ее презреть среди удовольствий? Ты хочешь жить: значит, ты знаешь, как жить? Ты боишься умереть, – так что же? Разве такая жизнь не все равно что смерть? Га й Цезарь, когда однажды переходил через Латинскую дорогу и кто—то из взятых под стражу, с бородой, отросшей по грудь, попросил у него смерти, ответил: «А разве сейчас ты живешь?» Так надо бы отвечать и тем, для кого смерть была бы избавлением: «Ты боишься умереть? А разве сейчас ты живешь?»– «Но я хочу жить потому, что делаю немало честного; мне нет охоты бросать обязанности, налагаемые жизнью: ведь я исполняю их неукоснительно и неустанно». – А разве ты не знаешь, что и умереть – это одна из налагаемых жизнью обязанностей! Ты никаких обязанностей не бросаешь: ведь нет точно определенного их числа, которое ты должен выполнить. Всякая жизнь коротка: если ты оглянешься на природу вещей, то короток будет даже век Нестора и Сатии, которая приказала написать на своем памятнике, что прожила девяносто девять лет. Ты видишь, старуха хвастается долгой старостью; а проживи она полных сто лет, кто мог бы ее вытерпеть? Жизнь – как пьеса: не то важно, длинна ли она, а то, хорошо ли сыграна. К делу не относится, тут ли ты оборвешь ее или там. Где хочешь, там и оборви – только бы развязка была хороша! Будь здоров.

Мишель Монтень ОПЫТЫ

О ТОМ, КАК НАДО СУДИТЬ О ПОВЕДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ

Когда мы судим о твердости, проявленной человеком пред лицом смерти, каковая есть несомненно наиболее значительное событие нашей жизни, необходимо принять во внимание, что люди с трудом способны поверить, будто они и впрямь подошли уже к этой грани. Мало кто умирает, понимая, что минуты его сочтены; нет ничего, в чем нас в большей мере тешила бы обманчивая надежда; она непрестанно нашептывает нам: «Другие были больны еще тяжелее, а между тем не умерли. Дело обстоит совсем не так уже безнадежно, как это представляется; и в конце концов господь явил немало других чудес». Происходит же это оттого, что мы мним о себе слишком много; нам кажется, будто совокупность вещей испытает какое—то потрясение от того, что нас больше не будет, и что для нее вовсе не безразлично, существуем ли мы на свете; к тому же наше извращенное зрение воспринимает окружающие нас вещи неправильно, и мы считаем их искаженными, тогда как в действительности оно само искажает их; в этом мы уподобляемся едущим по морю, которым кажется, будто горы, поля, города, земля и небо двигаются одновременно с ними.

*Provehimur portu, terraque urbesque recedunt.*¹⁸

Видел ли кто когда—нибудь старых людей, которые не восхваляли бы доброе старое время, не поносили бы новые времена и не возлагали бы вину за свои невзгоды и горести на весь мир и людские нравы?

*Iamque caput quassans, grandis suspirat arator,
Et cum tempora temporibus praesentia confert
Praeteritis, laudat fortunas saepe parentis,
Et crepat antiquum genus ut pietate remletum.*¹⁹

Мы ко всему подходим с собственной меркой, и из—за этого наша смерть представляется нам событием большой важности; нам кажется, будто она не может пройти бесследно, без того чтобы ей не предшествовало торжественное решение небесных светил: *tot circa unum caput tumultuantes deos.*²⁰ И чем большую цену мы себе придаем, тем более значительной кажется нам наша смерть: «Как! Неужели она решится погубить столько знаний, неужели причинит столько ущерба, если на то не будет особого волеизъявления судеб? Неужели она с тою же легкостью способна похитить столь редкостную и образцовую душу, с какою она похищает душу обыденную и бесполезную? И эта жизнь, обеспечивающая столько других, жизнь, от которой зависит такое множество других жизней, которая дает пропитание стольким людям, которой принадлежит столько места, должна будет освободить это место совершенно так же, как та, что держится на тоненькой ниточке?»

¹⁸ Мы покидаем гавань, и города и земли скрываются из виду. [Вергилий. Энеида, III, 72]

¹⁹ Старик—пахарь со вздохом качает головой, сравнивая настоящее с прошлым, беспрепятственно восхваляет благоденствие отцов, твердя о том, как велико было благочестие предков. [Лукреций, II, 1165]

²⁰ Столько богов, суетящихся вокруг одного человека. [Сенека Старший. Контroversы, IV, 3]

Всякий из нас считает себя в той или иной мере чем—то единственным, и в этом — смысл слов Цезаря, обращенных им к кормчему корабля, на котором он плыл, слов, еще более надменных, чем море, угрожающее его жизни:

Italiam si, caelo auctore, recusas,
Me pete: sola tibi causa haec est iusta timoris,
Vectorem non nosse tuum; perrumpe procellas,
Tutela secure mei;²¹

или, например, этих:

credit iam digna pericula Caesar
Fatis esse suis; tantusque evertere dixit,
Me superis labor est, parva quem puppe sedentem
Tam magno petiere mari?²²

а также нелепого официального утверждения, будто солнце на протяжении года, следовавшего за его смертью, носило на своем челе траур по нем:

Ille etiam extinco miseratus Caesare Roman,
Cum caput obscura nitidum ferrugine textit.²³

И тысячи подобных вещей, которыми мир с такой поразительной легкостью позволяет себя обманывать, считая, что небеса заботятся о наших нуждах и что их бескрайние просторы откликаются на малейшие поступки: *Non tanta caelo societas nobiscum est ut nostro fato mortalis sit ille quoque siderum fulgor.*²⁴

Итак, нельзя признавать решимость и твердость в том, кто, кем бы он ни был, еще не вполне уверен, что пребывает в опасности; и даже если он умер, обнаружив эти высокие качества, но не отдавая себе отчета, что умирает, то и этого недостаточно для такого признания: большинству людей свойственно выказывать стойкость и на лице и в речах; ведь они пекутся о доброй славе, которой хотят насладиться, оставшись в живых. Мне доводилось наблюдать умирающих, и обыкновенно не преднамеренное желание, а обстоятельства определяли их поведение. Если мы вспомним даже о тех, кто лишил себя жизни в древности, то и тут следует различать, была ли их смерть мгновенною или длительною. Некий известный своею жестокостью император Древнего Рима говорил о своих узниках, что хочет заставить их почувствовать смерть; и если кто—нибудь из них кончал с собой в тюрьме, этот император говаривал: «Такой—то ускользнул от меня»; он хотел растянуть для них смерть и, обрекая их на мучения, заставить ее почувствовать:

Vidimus et toto quamvis in corpore caeso
Nil animae letale datum, moremque nefandae

²¹ Если небо тебе повелевает покинуть берега Италии, повинуйся мне. Ты боишься только потому, что не знаешь, кого ты везешь; несись же сквозь бурю, твердо положившись на мою защиту. [*Лука*, V, 579]

²² Цезарь счел тогда, что эти опасности достойны его судьбы. Видно, сказал он, всевышним необходимо приложить такое большое усилие, чтобы погубить меня, если они насылают весь огромный океан на утлое суденышко, на котором я нахожусь? [*Лука*, V, 653]

²³ Когда Цезарь угас, само солнце скорбело о Риме и, опечалившись, прикрыло свой сияющий лик зловещей темной повязкой. [*Вергилий*. Георгики, I, 466]

²⁴ Нет такой неразрывной связи между небом и нами, чтобы сияние небесных светил должно было померкнуть вместе с нами. [*Плиний Старший*. Естественная история, II, 6]

*Durum saevitiae pereuntis parcere morti.*²⁵

И действительно, совсем не такое уж великое дело, пребывая в полном здравии и душевном спокойствии, принять решение о самоубийстве; совсем нетрудно изображать храбреца, пока не приступишь к выполнению замысла; это настолько нетрудно, что один из наиболее изнеженных людей, когда—либо живших на свете, Элагабал среди прочих своих постыдных прихотей, возымел намерение покончить с собой в случае, если его принудят к этому обстоятельству – самым изысканным образом, так, чтобы не посрамить всей своей жизни. Он велел возвести роскошную башню, низ и фасад которой были облицованы деревом, изукрашенным драгоценными камнями и золотом, чтобы броситься с нее на землю; он заставил изготовить веревки из золотых нитей и алого шелка, чтобы удавиться; он велел выковать золотой меч, чтобы заколоться; он хранил в сосудах из топаза и изумруда различные яды, чтобы отравиться. Все это он держал наготове, чтобы выбрать по своему желанию один из названных способов самоубийства:

*Impiger et fortis virtute coacta.*²⁶

И все же, что касается этого выдумщика, то изысканность всех перечисленных приготовлений побуждает предполагать, что если бы дошло до дела, и у него бы кишка оказалась тонка. Но, говоря даже о тех, кто, будучи более сильным, решился привести свой замысел в исполнение, нужно всякий раз, повторяю, принимать во внимание, был ли нанесенный ими удар таковым, что у них не было времени почувствовать его следствия: ибо еще неизвестно, сохраняли бы они твердость и упорство в столь роковом стремлении, если б видели, как медленно покидает их жизнь, если б телесные страдания сочетались в них со страданиями души, если б им представлялась возможность раскаяться.

Во времена гражданских войн Цезаря Луций Домиций, будучи схвачен в Абрुццах, принял яд, но тотчас же раскаялся в этом. И в наше время был такой случай, что некто, решив умереть, не смог поразить себя с первого раза насмерть, так как страстное желание жить, обуявшее его естество, сковывало ему руку; все же он нанес себе еще два—три удара, но так и не сумел превозмочь себя и нанести себе смертельную рану. Когда стало известно, что против Плавция Сильвана затевает судебный процесс, Ургулания, его бабка, прислала ему кинжал; не найдя в себе сил заколоться, он велел своим людям вскрыть ему вену. В царствование Тиберия Альбуцилла, приняв решение умереть, ранила себя настолько легко, что доставила своим врагам удовольствие бросить ее в тюрьму и расправиться с ней по своему усмотрению. То же произошло и с полководцем Демосфеном после его похода в Сицилию. Гай Фимбрия, нанеся себе слишком слабый удар, принудил своего слугу прикончить его. Напротив, Осторий, не имея возможности действовать собственной рукой, не пожелал воспользоваться рукой своего слуги для чего—либо иного, кроме как для того, чтобы тот крепко держал перед собой кинжал; бросившись с разбегу на его острие, Осторий пронзил себе горло. Это поистине такое яство, которое, если не обладаешь луженым горлом, нужно глотать не жуя; тем не менее император Адриан повелел своему врачу указать и очертить у него на груди то место возле соска, удар в которое был бы смертельным и куда надлежало метить тому, кому он поручит его убить. Вот почему, когда Цезаря спросили, какую смерть он находит наиболее легкой, он ответил: «Ту, которой меньше всего ожидаешь и которая наступает мгновенно».

²⁵ Видели мы, что, хотя все его тело было истерзано, смертельный удар еще не нанесен и что безмерно жестокий обычай продлевает его еле теплящуюся жизнь. [Лукан, II, 178]

²⁶ Ретивый и смелый по необходимости (лат.). [Лукан, IV, 798]

Если сам Цезарь решился высказать такое суждение, то и мне незазорно признаться, что я думаю так же.

«Мгновенная смерть, – говорит Плиний, – есть высшее счастье человеческой жизни». Людям страшно сводить знакомство со смертью. Кто боится иметь дело с нею, кто не в силах смотреть ей прямо в глаза, тот не вправе сказать о себе, что он приготовился к смерти; что же до тех, которые, как это порою случается при совершении казней, сами стремятся навстречу своему концу, торопят и подталкивают палача, то они делают это не от решимости; они хотят сократить для себя срок пребывания с глазу на глаз со смертью. Им не страшно умереть, им страшно умирать,

Emori nolo, sed me esse mortuum nihil aestimo.²⁷

Это та степень твердости, которая, судя по моему опыту, может быть достигнута также и мною, как она достигается теми, кто бросается в гущу опасностей, словно в море, зажмурив глаза.

Во всей жизни Сократа нет, по—моему, более славной страницы, чем те тридцать дней, в течение которых ему пришлось жить с мыслью о приговоре, осуждавшем его на смерть, все это время сживаться с нею в полной уверенности, что приговор этот совершенно неотвратим, не выказывая при этом ни страха, ни душевного беспокойства и всем своим поведением и речами обнаруживая скорее, что он воспринимает его как нечто незначительное и безразличное, а не как существенное и единственно важное, занимающее собой все его мысли.

Помпонию Аттик, тот самый, с которым переписывался Цицерон, тяжело заболев, призывал к себе своего тестя Агриппу и еще двух—трех друзей и сказал им: так как он понял, что лечение ему не поможет и что все, что он делает, дабы продлить себе жизнь, продлевает вместе с тем и усиливает его страдания, он решил положить одновременно конец и тому и другому; он просил их одобрить его решение и уж во всяком случае избавить себя от труда разубеждать его. Итак, он избрал для себя голодную смерть, но случилось так, что, воздерживаясь от пищи, он исцелился: средство, которое он применил, чтобы разделаться с жизнью, возвратило ему здоровье. Когда же врачи и друзья, обрадованные столь счастливым событием, явились к нему с поздравлениями, их надежды оказались жестоко обманутыми; ибо, несмотря на все уговоры, им так и не удалось заставить его изменить принятое решение: он заявил что поскольку так или иначе ему придется переступить этот порог, то раз он зашел уже так далеко, он хочет освободить себя от труда начинать все сначала. И хотя человек, о котором идет речь, познакомился со смертью заранее, так сказать на досуге, он не только не потерял охоты встретиться с нею, но, напротив, всей душой продолжал жаждать ее, ибо, достигнув того, ради чего он вступал в это единоборство, он побуждал себя, подстегиваемый своим мужеством, довести начатое им до конца. Это нечто гораздо большее, чем бесстрашие перед лицом смерти, это неудержимое желание изведать ее и насладиться ею досыта.

История философа Клеанфа очень похожа на только что рассказанную. У него распухли и стали гноиться десны; врачи посоветовали ему воздержаться от пищи; он проголодал двое суток и настолько поправился, что они объявили ему о полном его исцелении и разрешили вернуться к обычному образу жизни. Он же, изведав уже некую сладость, порождаемую угасанием сил, принял решение не возвращаться вспять и переступил порог, к которому успел уже так близко придвинуться.

Туллий Марцеллин, молодой римлянин, стремясь избавиться от болезни, терзавшей его сверх того, что он соглашался вытерпеть, захотел предвосхитить предназначенный ему судьбой срок, хотя врачи и обещали если не скорое, то во всяком случае верное его исцеление. Он при-

²⁷ Я не боюсь оказаться мертвым; меня страшит умирание (лат.).

гласил друзей, чтобы посоветоваться с ними. Одни, как рассказывает Сенека, давали ему советы, которые из малодушия они подали бы и себе самим; другие из лести советовали ему сделать то—то и то—то, что, по их мнению, было бы для него всего приятнее. Но один стоик сказал ему следующее: «Не утруждай себя, Марцеллин, как если бы ты раздумывал над чем—либо стоящим. Жить – не такое уж великое дело; живут твои слуги, живут и дикие звери; великое дело – это умереть достойно, мудро и стойко. Подумай, сколько раз проделывал ты одно и то же – ел, пил, спал, а потом снова ел; мы без конца вращаемся в том же кругу. Не только неприятности и несчастья, вынести которые не под силу, но и пресыщение жизнью порождает в нас желание умереть». Марцеллину не столько нужен был тот, кто снабдил бы его советом, сколько тот, кто помог бы ему в осуществлении его замысла, ибо слуги боялись быть замешанными в подобное дело. Этот философ, однако, дал им понять, что подозрения падают на домашних только тогда, когда существуют сомнения, была ли смерть господина вполне добровольной, а когда на этот счет сомнений не возникает, то препятствовать ему в его намерении столь же дурно, как и злодейски убить его, ибо

*Invitum qui servat idem facit occidenti.*²⁸

Он сказал, сверх того, Марцеллину, что было бы уместным распределить по завершении жизни кое—что между теми, кто окажет ему в этом услуги, напомнив, что после обеда гостям предлагают десерт. Марцеллин был человеком великодушным и щедрым; он оделил своих слуг деньгами и постарался утешить их. Впрочем, в данном случае не понадобилось ни стали, ни крови. Он решил уйти из жизни, а не бежать от нее; не устремляться в объятия смерти, но предварительно познакомиться с нею. И чтобы дать себе время основательно рассмотреть ее, он стал отказываться от пищи и на третий день, велел обмыть себя теплой водой, стал медленно угасать, не без известного наслаждения, как он говорил окружающим. И действительно, пережившие такие замирания сердца, возникающие от слабости, говорят, что они не только не ощущали никакого страдания, но испытывали скорее некоторое удовольствие, как если бы их охватил сон и глубокий покой.

Вот примеры заранее обдуманной и хорошо изученной смерти.

Но желая, чтобы только Катон и никто другой явил миру образец несравненной доблести, его благодетельная судьба расслабила, как кажется, руку, которой он нанес себе рану. Она сделала это затем, чтобы дать ему время сразиться со смертью и вцепиться ей в горло и чтобы пред лицом грозной опасности он мог укрепить в своем сердце решимость, а не ослабить ее. И если бы на мою долю выпало изобразить его в это самое возвышенное мгновение всей его жизни, я показал бы его окровавленным, вырывающим свои внутренности, а не с мечом в руке, каким запечатлели его ваятели того времени: ведь для этого второго самоубийства потребовалось неизмеримо больше бесстрашия, чем для первого.

²⁸ Спасти человека против воли – все равно, что совершить убийство (лат.). [Гораций. Наука поэзии, 467]

Давид Юм О САМОУБИЙСТВЕ

Из благотворных последствий, вызываемых философией, далеко не последнее заключается в том, что она доставляет наилучшее противоядие против суеверия и ложной религии. Все другие средства против этой губительной язвы тщетны или в лучшем случае ненадежны. Простой здравый смысл и житейская мудрость, которых достаточно для большинства жизненных целей, здесь оказываются недействительными. Как история, так и повседневный опыт доставляют нам примеры людей, наделенных наилучшими способностями к практической деятельности, но всю свою жизнь пресмыкавшихся под гнетом самого грубого суеверия. Даже веселость и кротость нрава, проливающие бальзам на все прочие раны, бессильны против столь губительного яда; мы можем в особенности наблюдать это у прекрасного пола: хотя последний и обладает обычно указанными богатыми дарами природы, однако многие из его радостей отравляются этим несносным пришельцем. Но когда здравая философия получает господство над духом, суеверию действительно приходит конец, и можно смело утверждать, что ее торжество над этим врагом более полное, нежели над большинством пороков и несовершенств, которым подвержена человеческая природа. Любовь или гнев, честолюбие или скупость имеют свои корни в нраве и в аффектах, исправить которые едва ли в силах даже самый здравый разум; но суеверие, будучи основано на ложном мнении, должно тотчас же исчезнуть, едва лишь истинная философия внушит нам более правильные представления о высших силах. Здесь идет более равная борьба между болезнью и лекарством, помешать последнему доказать свою действительность не в силах ничто, кроме его собственной ложности и софистичности.

Здесь было бы излишне возвеличивать заслуги философии, раскрывая губительные тенденции того порока, от которого она избавляет человеческий дух. Суеверный человек, говорит Туллий²⁹ жалок в любом положении, в любом случае жизни; даже сон, который рассеивает все другие заботы злополучных смертных, дает ему повод к новым страхам, ибо, вдумываясь в свои грезы, он находит в этих ночных видениях предвестие грядущих бедствий. Я могу прибавить, что, хотя только смерть в силах положить навсегда предел его злополучию, он не решается прибегнуть к данному пристанищу, но продолжает свое жалкое существование из—за пустого страха перед тем, как бы не оскорбить своего творца, воспользовавшись властью, которую это благодетельное существо даровало ему. Дары Бога и природы похищаются у нас этим жестоким врагом, и, несмотря на то, что один шаг вывел бы нас из обители мучений и скорби, угрозы суеверия все же приковывают нас к ненавистной жизни, которую оно же само главным образом и делает жалкой.

Замечено, что если тех, кого бедствия жизни привели к необходимости прибегнуть к указанному роковому средству, несвоевременная заботливость их друзей лишит возможности умереть так, как они решили, то они редко дерзают прибегнуть к какому—нибудь другому способу смерти или могут вторично настолько собраться с духом, чтобы привести в исполнение свое намерение. Столь велик наш трепет перед смертью, что когда она представляется в какой—нибудь иной форме, кроме той, с которой человек старался примирить свое воображение, то она приобретает новые оттенки ужаса и превозмогает его слабую решимость. Но когда к этой природной робости присоединяются угрозы суеверия, то неудивительно, что люди совершенно лишаются всякой власти над своей жизнью, ибо даже многие наслаждения и удовольствия, к которым нас влечет сильная склонность, похищаются у нас этим бесчеловечным тираном. Постараемся же вернуть людям их врожденную свободу, разобрав все обычные аргу—

²⁹ De Divin.lib., II, 72, 150.

менты против самоубийства и показав, что указанное деяние свободно от всякой греховности и не подлежит какому—либо порицанию в соответствии с мнениями всех древних философов.

Если самоубийство преступно, то оно должно быть нарушением нашего долга или по отношению к Богу, или по отношению к нашим ближним, или по отношению к нам самим. Для доказательства того, что самоубийство не есть нарушение нашего долга по отношению к Богу, будут, быть может, достаточны следующие соображения. Чтобы управлять материальным миром, всемогущий Создатель установил общие и неизменные законы, в силу которых все тела от величайшей планеты до мельчайшей частицы материи придерживаются свойственной им сферы и деятельности. Чтобы управлять животным миром, он наделил все живые существа телесными и духовными силами: чувствами, аффектами, стремлениями, памятью и способностью суждения, которыми они побуждаются к действиям и направляются на том жизненном пути, к которому они предназначены. Эти два различных начала материального и животного миров постоянно сталкиваются друг с другом и взаимно замедляют или ускоряют свои действия. Силы человека и других животных сдерживаются и направляются природой и свойствами окружающих тел, а видоизменения и действия указанных тел непрерывно меняются под воздействием всех живых существ. Реки преграждают человеку путь в его странствованиях по поверхности земли; и реки же, соответственным образом направленные, передают свою силу машинам, которые служат человеку. Но хотя области материальных и животных сил не разделены всецело, все же отсюда не происходит никакого разлада или беспорядка во вселенной, наоборот, из этого смешения, соединения и противоположения различных сил, принадлежащих неодушевленным телам и живым созданиям, возникают та удивительная гармония и соразмерность, которые доставляют самый надежный аргумент в пользу верховной мудрости. Божественное провидение не проявляется непосредственно в каком—либо одном действии, но управляет всем при помощи тех общих и неизменных законов, которые были установлены испокон веков. Все события в известном смысле могут быть названы деянием Всемогущего; все они происходят из тех сил, которыми он наделил свои творения. Дом, падающий в силу собственной тяжести, не более обязан своим падением его провидению, чем дом, разрушаемый стараниями людей; и человеческие способности не в меньшей степени дело его рук, чем законы движения и тяготения. Когда разыгрываются страсти, когда рассудок повелевает, а члены повинуются, — все это действия Бога; и это одушевленные принципы в той же степени, как и неодушевленные, послужили ему для установления миропорядка. Всякое событие одинаково важно для бесконечного существа, которое одним взором охватывает самые далекие области пространства и отдаленнейшие периоды времени. Нет ни одного события, как бы важно оно для нас ни было, которое бы он изъял из своих общих законов, управляющих вселенной, или которое он в виде исключения приберег бы для своего непосредственного акта или действия. Перевороты в государствах и империях зависят от самой вздорной прихоти или аффектов одного человека, и жизнь людей сокращается или удлиняется из—за малейшей случайности: состояния атмосферы, пищи, ясной или бурной погоды. Природа, однако, продолжает свое поступательное движение и сохраняет свой образ действий, и если общие законы нарушаются когда—либо единичными велениями Божества, то это происходит таким путем, который всецело ускользает от человеческого наблюдения. Если, с одной стороны, стихии и другие неодушевленные части вселенной продолжают осуществлять свои действия, не обращая внимания на частные интересы и положение людей, то, с другой — люди при различных столкновениях материи предоставлены своим собственным суждениям и решениям и могут пользоваться каждой способностью, которой они одарены, чтобы обеспечить свое благополучие, счастье или самосохранение. Каков же в таком случае смысл принципа, гласящего, что человек, который, устав от жизни и будучи преследуем страданиями и несчастьями, смело преодолевает до конца естественный страх перед смертью и покидает этот жестокий мир, что такой человек, говорю я, навлекает на себя негодование своего Создателя, посягнув на дело божественного провиде-

ния и внеся смятение в мировой порядок? Станем ли мы утверждать, что Всемогущий в виде некоторого исключения приберет для себя лично распоряжение жизнью людей и не подчинил данного события наравне с другими общим законам, которые управляют вселенной? Это явная неправда: жизнь людей зависит от тех же законов, что и жизнь других живых существ; а последняя подчинена общим законам материи и движения. Падение башни или принятие яда разрушит человека наравне с мельчайшей тварью; наводнение смочит все без различия, что бы ни оказалось на пути его ярости. Таким образом, если жизнь людей всегда подчинена общим законам материи и движения, то не оттого ли поступок человека, распоряжающегося своей жизнью, преступен, что во всех случаях преступно посягать на указанные законы или вносить смятение в их действия? Но это, по—видимому, нелепо: все живые существа предоставлены в том, что касается их поведения в мире, собственной осмотрительности и сноровке и имеют полное право по мере своих сил изменять все действия природы. Не пользуясь этим правом, они не могли бы просуществовать и мгновения; всякий поступок, всякое движение человека видоизменяет порядок некоторых частей материи и отклоняет общие законы движения от их обычного хода. Сопоставляя эти заключения, мы находим, что человеческая жизнь подчинена общим законам материи и движения и что нарушать эти общие законы или вносить в них изменения не является посягательством на дело проведения. Не волен ли, следовательно, каждый свободно распоряжаться своей жизнью? И не имеет ли он полного права пользоваться той властью, которой наделила его природа? Чтобы свести на нет очевидность данного заключения, мы должны указать основание, в силу которого этот частный случай является исключением; не состоит ли такое основание в том, что человеческая жизнь есть нечто чрезвычайно важное, так что располагать ею по человеческому усмотрению есть дерзость? Но жизнь человека не более важна для вселенной, чем жизнь устрицы. И как бы она ни была важна, устройство человеческой природы на деле подчиняет ее человеческому благоразумию и приводит нас к необходимости в каждом отдельном случае принимать решения относительно нее. Если бы распоряжение человеческой жизнью было оставлено за собой Всемогущим в качестве дела, подлежащего его особому ведению, так что распоряжаться своей жизнью было бы со стороны людей посягательством на его право, то было бы одинаково преступно действовать как ради сохранения жизни, так и ради ее разрушения. Если я отстраняю камень, падающий на мою голову, я нарушаю ход природы и посягаю на особую область действий Всемогущего, продлевая свою жизнь за пределы того периода, который он предрекал ей на основании общих законов материи и движения.

Волос, муха, насекомое в силах разрушить это могущественное существо, жизнь которого имеет столь большое значение. Так разве нелепо предположить, что человеческое благоразумие имеет право распоряжаться тем, что зависит от столь незначительных причин? С моей стороны не было бы преступлением изменить течение Нила и Дуная, если бы я был в силах осуществить подобные намерения. Почему же в таком случае преступно отвести несколько унций крови от ее естественного русла?

Не воображаете ли вы, что я ропщу на проведение и клянусь день своего рождения потому, что оставляю жизнь и кладу предел существованию, которое, будь оно продолжено, сделало бы меня несчастным? Да останутся мне чужды подобные взгляды! Я только убежден в факте, который вы сами признаете возможным, а именно в том, что человеческая жизнь может быть несчастной и что мое существование, если бы оно было продлено далее, стало бы незавидным; но я благодарю провидение как за те блага, которые уже вкусил, так и за предоставленную мне власть избежать грозящих мне зол «*Agamus Deo gratias, quod nemo in vita teneri potest*». — *Seneca, Epist., XII.*³⁰

³⁰ Возблагодарим же Бога за то, что никого нельзя [силою] заставить жить дальше (*Сенека. Письма, XII*).

Это вам надо бы роптать на проведение, вам, по глупости своей воображающим, что вы не обладаете такой властью, и вынужденным все же продолжать ненавистную жизнь хотя бы и под бременем мучений, болезней, стыда и нужды.

Не учите ли вы сами, что когда меня постигает какая—нибудь беда, пусть и в силу козней моих врагов, то я должен покориться проведению, и что поступки людей в той же степени, как и действия неодушевленных существ, суть действия Всемогущего? Поэтому, когда я бросаюсь на собственный меч, я так же получаю смерть от руки Божества, как и тогда, когда причиной ее были бы лев, пропасть или лихорадка. Требуемая вами покорность провидению в каждом бедствии, которое постигает меня, не исключает человеческой ловкости и находчивости, если при их посредстве я, быть может, сумею избежать несчастья. И почему я не могу пользоваться одним средством в той же мере, как и другим?

Если моя жизнь не моя собственность, то с моей стороны было бы в такой же мере преступно подвергать ее опасности, как и располагать ею, и не могло бы быть так, чтобы один человек, которого слава и дружба побуждают идти навстречу величайшим опасностям, заслуживал название *героя*, а другой, который по тем же или похожим мотивам кладет предел своей жизни, был достоин прозвища *негодяя* или *богоотступника*.

Нет такого существа, которое обладало бы силой или способностью, полученной им не от Создателя; нет и такого, которое могло бы каким—либо, хотя бы самым несообразным, поступком извратить план его провидения или внести беспорядок во вселенную. Действия любого существа суть дела Бога наравне с той цепью событий, в которую данное существо вторгается, и, какой бы принцип ни возобладал, мы можем на этом основании заключить, что он—то и пользуется особым покровительством Творца. Пусть он будет одушевленным или неодушевленным, рациональным или иррациональным – все равно его сила все—таки проистекает от верховного Создателя и входит в план его провидения. Когда ужас перед страданием превозмогает любовь к жизни, когда добровольный акт предваряет действие слепых причин, – все это только следствие тех сил и начал, которые Творец внедрил в свои создания. Божественное провидение и в данном случае остается неприкосновенным и пребывает далеко за пределами человеческих посягательств.³¹ Нечестиво, говорит древнее римское суеверие, отвращать реки с их пути или присваивать себе права природы. Нечестиво, говорит французское суеверие, прививать оспу или брать на себя дело провидения, произвольно вызывая расстройства или болезни. Нечестиво, говорит современное европейское суеверие, класть предел собственной жизни, подымая тем самым бунт против своего Создателя. Но почему же не нечестиво, говорю я, строить дома, обрабатывать землю или плавать по океану? При всех этих действиях мы пользуемся нашими силами духа и тела, чтобы произвести какое—нибудь видоизменение в ходе природы, и ни в одном не делаем чего—либо большего. Поэтому все они либо одинаково невинны, либо одинаково преступны.

Но вы подобно часовому поставлены провидением на определенный пост; и если вы, не будучи отозваны, оставляете его, то вы повинны в возмущении против всемогущего Господа и навлекаете на себя его неудовольствие. Но из чего вы заключили, спрашиваю я, что провидение поставило меня на этот пост? Что касается меня, то я нахожу, что обязан своим рождением длинной цепи причин, из которых многие зависели от произвольных поступков людей. *Но Провидение руководило этими Причинами, и ничто не происходит во вселенной без его согласия и содействия.* А если так, то и моя смерть, пусть и произвольная, произойдет не без его согласия; а поскольку муки или скорбь настолько превысили мое терпение, что жизнь стала мне в тягость, то я могу заключить, что меня самым ясным и настоятельным образом отзывают с моего поста. Конечно, не что иное, как провидение, поместило меня теперь в эту комнату. Но разве не могу я оставить ее, когда сочту нужным, не навлекая на себя подозрения в том, что

³¹ Tacit. Annal., lib, I, 79.

оставил свое назначение и пост? Когда я умру, начала, из которых я составлен, все же будут совершать свое дело во вселенной и будут столь же полезны в этой величественной мастерской, как и тогда, когда они составляли данное индивидуальное создание. Для целого разница окажется здесь не больше, чем разница между моим пребыванием в комнате и на открытом воздухе. Для меня одно изменение важнее, чем другое; но это не так для вселенной.

Вообразить, что какое—либо сотворенное существо может нарушить порядок мира или посягать на дело провидения, — это своего рода кощунство. Это значит предполагать, что такое существо обладает силами и способностями, которые оно получило не от своего Создателя и которые не подчинены его правлению и власти. Человек, конечно, может внести смуту в общество и тем навлечь на себя неудовольствие Всемогущего; но управление миром находится далеко за пределами, доступными его вторжению. Но каким же образом становится ясно, что Всемогущий недоволен теми поступками, которые вносят разлад в общество? При помощи тех принципов, которые он внедрил в человеческую природу и которые возбуждают в нас чувство раскаяния, когда мы сами бываем повинны в подобных поступках, и чувство порицания и неодобрения, когда мы замечаем их в других. Посмотрим же теперь в соответствии с намеренным нами методом, принадлежит ли самоубийство к такого рода поступкам и является ли оно нарушением нашего долга по отношению к нашим *ближним* и *обществу*.

Человек, кончающий счеты с жизнью, не причиняет никакого ущерба обществу, он только перестает делать добро; а если это и проступок, то относящийся к числу наиболее извинительных.

Все наши обязанности делать добро обществу предполагают, по—видимому, некоторую взаимность. Я пользуюсь выгодами общества и поэтому должен служить его интересам; но если я совершенно порываю с обществом, то могу ли я и после этого оставаться связанным долгом? И если даже допустить, что наши обязанности делать добро не прекращаются никогда, все же они, наверное, имеют некоторые границы. Я не обязан делать незначительное добро обществу за счет большого вреда для себя самого; почему же в таком случае следует мне продолжать жалкое существование из—за какой—то пустячной выгоды, которую общество могло бы, пожалуй, получить от меня? Если на основании преклонного возраста и болезненного состояния я могу с полным правом отказаться от какой—нибудь должности и посвятить все свое время борьбе с этими бедствиями, а также облегчению по мере возможности несчастий своей дальнейшей жизни, то почему же я не мог бы разом пресечь такие несчастья посредством поступка, который столь же безвреден для общества?

Но предположите, что не в моих силах более служить интересам общества; предположите, что я ему в тягость; предположите, что моя жизнь мешает каким—нибудь лицам принести обществу гораздо большую пользу. В таких случаях мой отказ от жизни должен быть не только безвинным, но и похвальным. Но большинство людей, испытывающих искушение покончить с жизнью, находятся в подобном положении; те, кто обладает здоровьем, властью или почетом, имеют обычно лучшие основания быть в ладах с миром.

Некто замешан в заговоре во имя общего блага; он схвачен по подозрению; ему грозит пытка; и он знает, что из—за его слабости тайна будет исторгнута от него. Может ли такой человек лучше послужить общим интересам, чем поскорее покончив со своей несчастной жизнью? Так обстояло дело со славным и мужественным Строцци из Флоренции. Предположите далее, что злодей заслуженно осужден на позорную смерть; можно ли вообразить какое—либо основание, в силу которого он не должен был бы предварить свое наказание и избавить себя от мучительных дум о его ужасном приближении? Он не более посягает на дело провидения, чем власти, распорядившиеся о его казни; и его добровольная смерть в такой же мере полезна для общества, так как освобождает его от опасного сочлена.

Что самоубийство часто можно совместить с нашим интересом и нашим долгом по отношению к нам самим, в этом не может быть сомнения для кого—либо, кто признает, что воз-

раст, болезнь или невзгоды могут превратить жизнь в бремя и сделать ее даже чем—то худшим, нежели самоуничтожение. Я убежден, что никто никогда не отказывался от жизни, пока ее стоит сохранять. Ибо так велик наш естественный ужас перед смертью, что незначительные мотивы никогда не будут в силах примирить нас с ней; и, хотя, быть может, положение здоровья и дел некоторого человека на первый взгляд и не требовало упомянутого средства, мы можем во всяком случае быть уверены в том, что каждый, кто без видимых оснований прибег к нему, был заклеен такой безнадежной извращенностью или мрачностью нрава, что они должны были отравлять ему все удовольствия и делать его столь же несчастным, как если бы он изнывал под бременем самых горестных невзгод.

Если предполагается, что самоубийство есть преступление, то только трусость могла бы побудить нас к нему. Если же оно не преступление, то благоразумие и мужество должны были бы побудить нас разом избавиться от существования, когда оно становится бременем. При таком положении дел это единственный путь, встав на который мы можем быть полезны обществу, ибо подаем пример, который, если он найдет подражателей, оставит каждому его шанс на счастье в жизни и вполне освободит его от всякой опасности, от всякого злополучия.³²

³² Не трудно было бы доказать, что самоубийство столь же мало возбраняется христианам, как и язычникам. Нет ни одного места в Священном Писании, которое запрещало бы его. Этот великий и непогрешимый канон веры и жизни, под контролем которого должны пребывать всякая философия и человеческое рассуждение, в данном отношении предоставил нас нашей естественной свободе. Правда, в Священном Писании говорится о покорности провидению, но это понимается только в смысле подчинения неизбежным бедствиям, а не тем, которые могут быть устранены посредством благоразумия и мужества. Заповедь *не убий*, очевидно, имеет в виду запрещение убивать других, на жизнь которых мы не имеем никакого права. Что эта заповедь подобно большинству заповедей Священного Писания должна быть согласована с разумом и здравым смыслом — это явствует из образа действия властей, которые карают преступников смертью, не придерживаясь буквы закона. Но если бы даже это предписание было совершенно ясно направлено против самоубийства, все же оно не имело бы ныне никакой силы, ибо закон Моисея отменен, за исключением того в нем, что установлено законом Природы. И мы уже пытались доказать, что самоубийство этим законом не возбраняется. Во всех случаях христиане и язычники находятся в равном положении; Катон и Брут, Аррия и Порция поступили как герои. Те, кто следует их примеру, должны удостоиться тех же похвал от потомства. Способность лишить себя жизни рассматривается Плинием как преимущество людей по сравнению даже с самим Божеством. «*Deus non sibi potest mortem consciscere si velit, quod homini dedit optimum in tantis vitae poenis*». — Lib.II, cap.7 [Бог даже при желании не мог бы причинить себе смерть, и это при стольких бедствиях жизни лучший из его даров человеку (*Плиний Старший*. Естественная история, кн. II, гл.7)].

Артур Шопенгауэр НОВЫЕ ПАРАЛИПОМЭНЫ

ГЛАВА XII О САМОУБИЙСТВЕ

Параграф 334

Против самоубийства можно бы сказать: человек должен поставить себя выше жизни, он должен познать, что все ее явления и происшествия, радости и боли не касаются его лучшего и внутреннего «я»; что, следовательно, жизнь в своем целом представляет собой игру, турнир—позорище, а не серьезную борьбу; что поэтому он не должен вмешивать сюда серьезности, а ее он может проявить двояким образом: во—первых, посредством порока, который не что иное, как поведение, противоречащее этому внутреннему и лучшему «я», причем он таким образом низводит последнее до насмешки и игры, а игру принимает всерьез; во—вторых, путем самоубийства, которым он именно показывает, что он не понимает шуток, а принимает ее как нечто серьезное и поэтому как *mauvais joueur* переносит потерю не равнодушно, а, если ему сданы в игре плохие карты, ворчливо и нетерпеливо не хочет играть дальше, бросает карты и нарушает игру.

Параграф 335

Тем, кто стремится к смерти или кончает собой из безнадежной любви, которая, кстати сказать, тем, что одно только удовлетворяет ее, обнаруживает свое чувственное возникновение, по крайней мере, отчасти; тех, кто ставит свою жизнь в зависимость от мнения других или от какого—либо иного вздора и теряет ее на дуэли или в иных намеренных опасностях; даже тех (но здесь я спускаюсь на заметную ступень ниже), кто ставит благополучие своей жизни на карту или на произвол костей не из любви к выигрышу, а из любви к сильным ощущениям страха и надежды, — всех их и, словом, всех одержимых действительно страстью наша философия будет порицать и объявлять глупцами, которые ошиблись в том, что желательно; но презирать их мы не будем, а будем, если сравним их с настоящими филистерами, которые благоразумно стремятся к долгой и удобной жизни, некоторым образом даже уважать и предпочтем последним. Ибо первые подобны тем, кто, для того чтобы полакомиться пряностями какого—нибудь блюда, вправленными в торт пустяками, отказывается от притязаний на самую питательность блюда, на самую массу торта; вторые, наоборот, похожи на тех, кто, ради неестественного использования самой массы и питательности торта, отказываются от названных мелочей; они, следовательно, относятся к первым, как желудок к языку. Но мы не должны быть ни желудком, ни языком.

Параграф 336

Как только мы перестаем *хотеть*, жизнь предстает нам только еще как легкое явление, как утренний сон (об этом говорят фигуры на картине Корреджио, изображающей Мадонну со св. Иоанном) и тоже исчезает наконец, как и он, незаметно и без сильного перехода. Поэтому Гюйон и говорит: мне все безразлично, я не могу ничего больше хотеть; я не знаю, существую ли я или нет, и т. д.

Самоубийца — это человек, который вместо того, чтобы отказаться от хотения, уничтожает явление этого хотения: он прекратил не волю к жизни, а только жизнь. Но он вполне

испытывает внутренний раскол жизни, и горькое самоубийство представляет собою боль, которая может излечить его от воли к жизни.

Параграф 337

Человеконенавистничество, например, какого—нибудь Тимона из Афин – нечто совершенно иное, чем обыкновенная враждебность дурных людей. Первое возникает из объективного познания злобы и глупости людей в общем, оно касается не отдельных лиц, хотя отдельные лица и могут быть первым поводом, а направлено на всех, а эти отдельные люди рассматриваются только как безразличный пример. Более того, оно всегда до некоторой степени – благородное негодование, которое невозможно только там, где существует сознание лучшей собственной природы, возмущившейся совершенно неожиданными дурными свойствами других.

В противоположность этому обыкновенная враждебность, недоброжелательность, ненавистничество являются чем—то совершенно субъективным, возникшим не из познания, а из воли, которая встречает препятствия со стороны других людей в постоянных столкновениях и вот ненавидит отдельных лиц, которые стоят у нее на дороге, мало—помалу и всех, кто может ей мешать, то есть, собственно, именно всех, но всегда – по частям, в отдельности, и только исходя из поясненной раньше субъективной точки зрения. Такой человек будет любить немногих индивидуумов, с которыми у него в силу родственных связей или привычки есть хоть один общий интерес, хотя они ничем не лучше, чем другие.

Человеконенавистник относится к обыкновенному враждебно настроенному человеку, как аскет, который уничтожает волю к жизни, который смиряется, к самоубийце, который, хотя и любит жизнь, но еще больше страшится какого—нибудь определенного случая в жизни, так что этот страх перевешивает ту любовь. Враждебность и самоубийство касаются только одного, единичного случая, мизантропия и резигнация – целого. Первые похожи на обыкновенного моряка, который по рутине умеет плыть по морю в определенном направлении, а вне этого пути беспомощен; последние же подобны мореплавателю, который научился пользоваться компасом, картой, квадрантом и хронометром и который найдет пути по всему миру. Враждебность и самоубийство исчезли бы с уничтожением отдельного случая; мизантропия же и резигнация непоколебимы и не приводятся в движение ничем временным.

Параграф 338

Как отдельная вещь относится к Платоновой идее, так *самоубийца* относится к *святому*. Или еще лучше: самоубийца представляет на практике то, чем в теории является тот, кто останавливается в познании на законе основания, а святой или аскет на практике – то, что в теории – тот, кто познает Платоновы идеи или вещи в себе.

А именно: святой представляет собой человека, который перестает быть явлением воли к жизни; в нем воля обратилась. Обыкновенный же самоубийца жизни вообще хочет, но не хочет только отдельного явления этой воли, которое он сам представляет собою и которое разрушает. Воля в нем принимает решение сообразно своей (воли) независимой от закона основания (то есть от времени, пространства, единичности, причинности) сущности, которой отдельное явление безразлично, так что его разрушение ее (воли) не касается; ибо она ведь есть все живущее.

В том отдельном явлении, которое представляет собою самоубийца, он находит себя настолько стесненным страданиями (безразлично какими), что он даже не может более развивать свою сущность (волю к жизни): оставаясь верным этой своей сущности, он разрушает таким образом отдельное явление, и поэтому именно самоубийство является выражением воли к жизни, и оно наступит тем скорее, чем сильнее эта воля. И вот эта самая воля живет, не

затрагиваемая отдельным самоубийством, во всем живущем. Но самоубийство и страдание, которое породило его, – это умерщвления воли к жизни, которые побуждают ее обратиться.

Параграф 339

Совершенно бедственным и до отчаяния ужасным становится положение человека тогда, когда он ясно распознает существенную цель всего своего хотения и в то же время невозможность достигнуть ее, но при этом до такой степени не может попустить этим хотением, что, наоборот, насквозь и всецело представляет собою не что иное, как именно это хотение, неосуществимость которого он ясно видит. Когда наконец это явление, которое есть он сам, совершенно выводит его из терпения, тогда он прибегает к самоубийству. До тех пор он живет во внутреннем отчаянии и спутанности всех мыслей.

Параграф 340

Самоубийство – это шедевр майи. Мы уничтожаем явление и не видим, что вещь в себе остается неизменной, подобно тому, как неподвижно висится радуга, как бы быстро ни падала капля за каплей и ни становилась носительницей ее на один момент. Только уничтожение воли к жизни в общем может спасти нас: разлад с каким—нибудь одним из ее явлений оставляет ее самое несокрушимой, и таким образом уничтожение такого явления оставляет являемость воли в общем неизменной.

Везде появляется *противоположность между общим и частным*: первое – как верный путь, последнее – как неверный...

Параграф 341

Воля к жизни проявляется в такой же мере в желании смерти, выражение которого представляет собою самоубийство, с помощью которого отрицается и уничтожается не самая жизнь, а только ее данное явление, не вид, а только индивидуум, причем это деяние поддерживает внутренняя уверенность, что у воли к жизни никогда не может быть недостатка в ее проявлениях и что она, несмотря на смерть совершающего самоубийство индивидуума, живет в неисчислимом количестве других индивидуумов; я говорю: в этом самоумерщвлении (Шива) воля к жизни проявляется точно так же, как и в блаженстве самосохранения (Брама). В этом – внутреннее значение единства Тримурти,³³ как и того, что как раз Шива имеет своим атрибутом Лингам.

Параграф 342

Дисхолия представляет большую восприимчивость ко всем неприятным впечатлениям и слабую ко всем приятным. *Эухолия* держится обратного порядка.

Если *дисхолия* вследствие телесных ненормальностей (которые лежат большей частью в нервной и пищеварительной системе) достигает очень высокой степени, то малейшая неприятность является достаточным мотивом для *самоубийства*.

Но величина какого—нибудь несчастья может довести до *самоубийства* и самого здорового человека.

Если оставить в стороне переходные и средние ступени, то существует, следовательно, два рода самоубийства: самоубийство больного в силу *дисхолии* и самоубийство здорового из—за несчастья.

³³ Которую представляет каждый из нас, выставляя то одну, то другую из трех голов (*Примечание А. Шопенгауэра*).

Вследствие большой разницы между *дисхалией* и *эухалией* нет такого несчастного случая, который был бы так мал, чтобы он при достаточной *дисхалии* не мог бы стать мотивом к самоубийству, и такого, который был бы так велик, чтобы он должен был стать мотивом к самоубийству для всякого человека.

По тяжести и реальности несчастья можно судить о степени здоровья самоубийцы. Если допустить, что совершенно здоровый человек должен быть настолько *эухалическим*, чтобы никакое несчастье не могло сломить его жизненного мужества, то правильно утверждать, что все самоубийцы – душевнобольные (собственно – телесно больные). Но кто же вполне здоров?

В обоих родах *самоубийства* дело в конце концов представляет одно и то же: естественная привязанность к жизни преодолевается невыносимостью страданий; но подобно тому, как для того, чтобы переломить толстую доску, необходимо 1000 фунтов, в то время как тонкая ломается под тяжестью одного, так обстоит дело и с поводом и с восприимчивостью. А в конце концов, это обстоит так, как с физическими случаями: легкая простуда стоит больному жизни, но есть простуды, от которых должен умереть даже самый здоровый человек.

Несомненно, здоровому приходится при принятии решения выдерживать гораздо более тяжелую борьбу, чем душевнобольному, которому решение, при высокой степени его болезни, почти ничего не стоит; но зато он вынес уже долгий период страдания до того, пока его настроение понизилось до настоящей степени.

Во всех случаях облегчение – в том, что духовные страдания делают нас равнодушными к телесным, как и наоборот.

Наследственность расположения к самоубийству доказывает, что субъективный момент побуждения к нему является, очевидно, наиболее сильным.

Федор Достоевский ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ДВА САМОУБИЙСТВА

Недавно как—то мне случилось говорить с одним из наших писателей (большим художником) о комизме в жизни, о трудности определить явление, назвать его настоящим словом.<...>

– А знаете ли вы, – вдруг сказал мне мой собеседник, видимо давно уже и глубоко пораженный своей идеей, – знаете ли, что, что бы вы ни написали, что бы ни вывели, что бы ни отметили в художественном произведении, – никогда вы не сравняетесь с действительностью. Что бы вы ни изобразили – всё выйдет слабее, чем в действительности. Вы вот думаете, что достигли в произведении самого комического в известном явлении жизни, поймали самую уродливую его сторону, – ничуть! Действительность тотчас же представит вам в этом же роде такой фазис, какой вы и еще и не предлагали и превышающий всё, что могло создать ваше собственное наблюдение и воображение!..

Это я знал еще с 46-го года, когда начал писать, а может быть и раньше, – и факт этот не раз поражал меня и ставил меня в недоумение о полезности искусства при таком видимом его бессилии. Действительно, проследите иной, даже вовсе и не такой яркий на первый взгляд факт действительной жизни, – и если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира. Но ведь в том—то и весь вопрос: *на чей глаз и кто в силах?* Ведь не только чтоб создавать и писать художественные произведения, но и чтоб только приметить факт, нужно тоже в своем роде художника. Для иного наблюдателя все явления жизни проходят в самой трогательной простоте и до того понятны, что и думать не о чем, смотреть даже не на что и не стоит. Другого же наблюдателя те же самые явления до того иной раз озаботят, что (случается даже и нередко) – не в силах, наконец, их обобщить и упростить, вытянуть в прямую линию и на том успокоиться, – он прибегает к другого рода упрощению и *просто—запросто* сажает себе пулю в лоб, чтоб погасить свой измученный ум вместе со всеми вопросами разом. Это только две противоположности, но между ними помещается весь наличный смысл человеческий. Но, разумеется, никогда нам не исчерпать всего явления, не добраться до конца и начала его. Нам знакомо одно лишь насущное видимо—текущее, да и то понаглядке, а концы и начала – это всё еще пока для человека фантастическое.

Кстати, один из уважаемых моих корреспондентов сообщил мне еще летом об одном странном и неразгаданном самоубийстве, и я всё хотел говорить о нем. В этом самоубийстве всё, и снаружи и внутри, – загадка. Эту загадку я, по свойству человеческой природы, конечно, постарался как—нибудь разгадать, чтоб на чем—нибудь «остановиться и успокоиться». Самоубийца – молодая девушка лет двадцати трех или четырех не больше, дочь одного слишком известного русского эмигранта и родившаяся за границей, русская по крови, но почти уже совсем не русская по воспитанию. В газетах, кажется, смутно упоминалось о ней в свое время, но очень любопытны подробности: «Она намочила вату хлороформом, обвязала себе этим лицо и легла на кровать... Так и умерла. Перед смертью написала следующую записку:

<...>

«Предпринимаю длинное путешествие. Если самоубийство не удастся, то пусть соберутся все отпраздновать мое воскресение из мертвых с бокалами Клико. А если удастся, то я прошу только, чтоб схоронили меня, вполне убедясь, что я мертвая, потому что совсем неприятно проснуться в гробу под землю. *Очень даже не шикарно выйдет!*»

В этом гадком, грубом шике, по—моему, слышится вызов, может быть негодование, злоба, — но на что же? Просто грубые натуры истребляют себя самоубийством лишь от материальной, видимой, внешней причины, а по тону записки видно, что у нее не могло быть такой причины. На что же могло быть негодование?.. На простоту представляющегося, на бессодержательность жизни? Это те, слишком известные, судьи и отрицатели жизни, негодующие на «глупость» появления человека на земле, на бестолковую случайность этого появления, на тиранию косной причины, с которой нельзя помириться? Тут слышится душа именно возмущившаяся против «прямолинейности» явлений, не вынесшая этой прямолинейности, сообщившейся ей в доме отца еще с детства. И безобразнее всего то, что ведь она, конечно, умерла без всякого отчетливого сомнения. Сознательного сомнения, так называемых вопросов, вероятнее всего, не было в душе ее; всему она, чему научена была с детства, верила прямо, на слово, и *это* вернее всего. Значит, просто умерла от «холодного мрака и скуки», с страданием, так сказать, животным и безотчетным, просто стало душно жить, вроде того, как бы воздуху не достало. Душа не вынесла прямолинейности безотчетно и безотчетно потребовала чего—нибудь более сложного...

С месяц тому назад, во всех петербургских газетах появилось несколько коротеньких строчек мелким шрифтом об одном петербургском самоубийстве: выбросилась из окна, из четвертого этажа, одна бедная молодая девушка, швея, — «потому что никак не могла приискать себе для пропитания работы». Прибавлялось, что выбросилась она и упала на землю, *держа в руках образ*. Этот образ в руках — странная и неслыханная еще в самоубийстве черта! Это уж какое—то кроткое, смиренное самоубийство. Тут даже, видимо, не было никакого ропота или попрека: просто — стало нельзя жить, «бог не захотел» и — умерла, помолившись. Об иных вещах, как они с виду ни *просты*, долго не перестаете думать, как—то мерещится, и даже точно вы в них виноваты. Эта кроткая, истребившая себя душа невольно мучает мысль. Вот эта —то смерть и напомнила мне о сообщенном мне еще летом самоубийстве дочери эмигранта. Но какие, однако же, два разные создания, точно обе с двух разных планет! И какие две разные смерти! А которая из этих душ больше мучилась на земле, если только приличен и позволителен такой праздный вопрос?

ПРИГОВОР

Кстати, вот одно рассуждение одного самоубийцы *от скуки*, разумеется матерьялиста.

«... В самом деле: какое право имела эта природа производить меня на свет, вследствие каких—то там своих вечных законов? Я создан с сознанием и эту природу *сознал*: какое право она имела производить меня, без моей воли на то, сознающего? Сознающего, стало быть, страдающего, но я не хочу страдать — ибо для чего бы я согласился страдать? Природа, чрез сознание мое, возвещает мне о какой—то гармонии в целом. Человеческое сознание наделало из этого возвещения религий. Она говорит мне, что я, — хоть и знаю вполне, что в «гармонии целого» участвовать не могу и никогда не буду, да и не пойму ее вовсе, что она такое значит, — но что я все—таки должен подчиниться этому возвещению, должен смириться, принять страдание в виду гармонии в целом и согласиться жить. Но если выбирать сознательно, то, уж разумеется, я скорее пожелаю быть счастливым лишь в то мгновение, пока я существую, а до целого и его гармонии мне ровно нет никакого дела после того, как я уничтожусь, — останется ли это целое с гармонией на свете после меня или уничтожится сейчас же вместе со мною. И для чего бы я должен был так заботиться о его сохранении после меня — вот вопрос? Пусть уж лучше я был бы создан как все животные, то есть живущим, но не сознающим себя разумно; сознание же мое есть именно не гармония, а, напротив, дисгармония, потому что я с ним несчастлив. Посмотрите, кто счастлив на свете и какие люди *соглашаются* жить? Как раз те, которые похожи на животных и ближе подходят под их тип по малому развитию их сознания. Они

соглашаются жить охотно, но именно под условием жить как животные, то есть есть, пить, спать, устраивать гнездо и выводить детей. Есть, пить и спать по—человеческому значит наживаться и грабить, а устраивать гнездо значит по преимуществу грабить. Возразят мне, пожалуй, что можно устроиться и устроить гнездо на основаниях разумных, на научно верных социальных началах, а не грабежом, как было доньше. Пусть, а я спрошу: для чего? Для чего устраиваться и употреблять столько стараний устроиться в обществе людей правильно, разумно и нравственно—праведно? На это, уж конечно, никто не сможет мне дать ответа. Всё, что мне могли бы ответить, это: «чтоб получить наслаждение». Да, если б я был цветок или корова, я бы и получил наслаждение. Но, задавая, как теперь, себе беспрерывно вопросы, я не могу быть счастлив, даже и при самом высшем и *непосредственном* счастье любви к ближнему и любви ко мне человечества, ибо знаю, что завтра же все это будет уничтожено: и я, и всё счастье это, и вся любовь, и всё человечество – обратится в ничто, в прежний хаос. А под таким условием я ни за что не могу принять никакого счастья, – не от нежелания согласиться принять его, не от упрямства какого из—за принципа, а просто потому, что не буду и не могу быть счастлив под условием грозящего завтра нуля. Это – чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его. Ну, пусть бы я умер, а только человечество оставалось бы вместо меня вечно, тогда, может быть, я всё же был бы утешен. Но ведь планета наша не вечна, и человечеству срок – такой же миг, как и мне. И как бы разумно, радостно, праведно и свято ни устроилось на земле человечество, – всё это тоже приравняется завтра к тому же нулю. И хоть это почему—то там и необходимо, по каким—то там всеильным, вечным и мертвым законам природы, но поверьте, что в этой мысли заключается какое—то глубочайшее неуважение к человечеству, глубоко мне оскорбительное и тем более невыносимое, что тут нет никого виноватого.

И наконец, если б даже предположить эту сказку об устроенном наконец—то на земле человеке на разумных и научных основаниях – возможно и поверить ей, поверить грядущему наконец—то счастью людей, – то уж одна мысль о том, что природе необходимо было, по каким—то там косным законам ее, истязать человека тысячелетия, прежде чем довести его до этого счастья, одна мысль об этом уже невыносимо возмутительна. Теперь прибавьте к тому, что той же природе, допустившей человека наконец—то до счастья, почему—то необходимо обратить всё это завтра в нуль, несмотря на всё страдание, которым заплатило человечество за это счастье, и, главное, нисколько не скрывая этого от меня и моего сознания, как скрыла она от коровы, – то невольно приходит в голову одна чрезвычайно забавная, но невыносимо грустная мысль: «ну что, если человек был пущен на землю в виде какой—то наглой пробы, чтоб только посмотреть: уживется ли подобное существо на земле или нет?» Грусть этой мысли, главное – в том, что опять—таки нет виноватого, никто пробы не делал, некого проклясть, а просто всё произошло по мертвым законам природы, мне совсем непонятным, с которыми сознанию моему никак нельзя согласиться. Ergo:³⁴

Так как на вопросы мои о счастье я через мое же сознание получаю от природы лишь ответ, что могу быть счастлив не иначе, как в гармонии целого, которой я не понимаю, и очевидно для меня, и понять никогда не в силах —

Так как природа не только не признает за мной права спрашивать у нее отчета, по даже и не отвечает мне вовсе – и не потому, что не хочет, а потому, что и не может ответить —

Так как я убедился, что природа, чтоб отвечать мне на мои вопросы, предназначила мне (бессознательно) *меня же самого* и отвечает мне моим же сознанием (потому что я сам это все говорю себе) —

Так как, наконец, при таком порядке, я принимаю на себя в одно и то же время роль истца и ответчика, подсудимого и судьи и нахожу эту комедию, со стороны природы, совершенно глупую, а переносить эту комедию, с моей стороны, считаю даже унижительным —

³⁴ Следовательно (*лат.*).

То, в моем несомненном качестве истца и ответчика, судьи и подсудимого, я присуждаю эту природу, которая так бесцеремонно и нагло произвела меня на страдание, – вместе со мною к уничтожению... А так как природу я истребить не могу, то и истребляю себя одного, единственно от скуки сносить тиранию, в которой нет виноватого».

N. N.

ГОЛОСЛОВНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ

Статья моя «Приговор» касается основной и самой высшей идеи человеческого бытия – необходимости и неизбежности убеждения в бессмертии души человеческой. Подкладка этой исповеди погибающего «от логического самоубийства» человека – это необходимость тут же, сейчас же вывода: что без веры в свою душу и в ее бессмертие бытие человека неестественно, невыносимо и невыносимо. И вот мне показалось, что я ясно выразил формулу логического самоубийцы, нашел ее. Веры в бессмертие для него не существует, он это объясняет в самом начале. Мало—помалу мыслью о своей бесцельности и ненавистью к безгласию окружающей косности он доходит до неминуемого убеждения в совершенной нелепости существования человеческого на земле. Для него становится ясно как солнце, что *согласиться* жить могут лишь те из людей, которые похожи на низших животных и ближе подходят под их тип по малому развитию своего сознания и по силе развития чисто плотских потребностей. Они соглашаются жить именно как животные, то есть чтобы «есть, пить, спать, устраивать гнездо и выводить детей». О, жрать, да спать, да гадить, да сидеть на мягком – еще слишком долго будет привлекать человека к земле, но не в высших типах его. Между тем высшие типы ведь царят на земле и всегда царили, и кончалось всегда тем, что за ними шли, когда восполнялся срок, миллионы людей. Что такое высшее слово и высшая мысль? Это слово, эту мысль (без которых не может жить человечество) весьма часто произносят в первый раз люди бедные, незаметные, не имеющие никакого значения и даже весьма часто гонимые, умирающие в гонении и в неизвестности. Но мысль, произнесенное ими слово не умирают и никогда не исчезают бесследно, никогда не могут исчезнуть, лишь бы только раз были произнесены, – и это даже поразительно в человечестве. В следующем же поколении или через два—три десятка лет мысль гения уже охватывает всё и всех, увлекает всё и всех, – и выходит, что торжествуют не миллионы людей и не материальные силы, по—видимому столь страшные и незыблемые, не деньги, не меч, не могущество, а незаметная вначале мысль, и часто какого—нибудь, по—видимому, ничтожнейшего из людей. Г—н Энпе пишет, что появление такой исповеди у меня в «Дневнике» «служит» (кому, чему служит?) «смешным и жалким анахронизмом»... ибо ныне «век чугуновых понятий, век положительных мнений, век, держащий знамя: «Жить во что бы то ни стало!..»» (Так, так! вот потому—то, вероятно, так и усилились в наше время самоубийства в классе интеллигентном.) Уверяю почтенного г—на Энпе и подобных ему, что этот «чугун» обращается, когда приходит срок, в пух перед иной идеей, сколь бы ни казалась она ничтожною вначале господам «чугуновых понятий». Для меня же лично, одно из самых ужасных опасений за наше будущее, и даже за ближайшее будущее, состоит именно в том, что, на мой взгляд, в весьма уже, в слишком уже большей части интеллигентного слоя русского по какому—то особому, странному... ну хоть предопределению всё более и более и с чрезвычайною прогрессивною быстротою укореняется совершенное неверие в свою душу и в ее бессмертие. И мало того, что это неверие укореняется убеждением (убеждений у нас еще очень мало в чем бы то ни было), но укореняется и повсеместным, странным каким—то индифферентизмом к этой высшей идее человеческого существования, индифферентизмом, иногда даже насмешливым, бог знает откуда и по каким законам у нас водворяющимся, и не к одной этой идее, а и ко всему, что жизненно, к правде жизни, ко всему, что дает и питает жизнь, дает ей здоровье, уничтожает разложение и зловоние. Этот индифферентизм есть в наше время даже почти

русская особенность сравнительно хотя бы с другими европейскими нациями. Он давно уже проник и в русское интеллигентное семейство и уже почти что разрушил его. Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле *лишь одна* и именно – идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные «высшие» идеи жизни, которыми может быть жив человек, *лишь из нее одной вытекают*. В этом могут со мной спорить (то есть об этом именно единстве источника всего высшего на земле), но я пока в спор не вступаю и идею мою выставлю лишь голословно. Разом не объяснишь, а исподволь будет лучше. Впереди еще будет время.

Мой самоубийца есть именно страстный выразитель своей идеи, то есть необходимости самоубийства, а не индифферентный и не чугунный человек. Он действительно страдает и мучается, и, уж кажется, я это выразил ясно. Для него слишком очевидно, что ему жить нельзя, и – он слишком знает, что прав и что опровергнуть его невозможно. Перед ним неотразимо стоят самые высшие, самые первые вопросы: «Для чего жить, когда уже он сознал, что по—животному жить отвратительно, ненормально и недостаточно для человека? И что может в таком случае удержать его на земле?» На вопросы эти разрешения он получить не может и знает это, ибо хотя и сознал, что есть, как он выражается, «гармония целого», но я—то, говорит он, «ее не понимаю, понять никогда не в силах, а что не буду в ней сам участвовать, то это уж необходимо и само собою выходит». Вот эта—то ясность и dokonчила его. В чем же беда, в чем он ошибся? Беда единственно лишь в потере веры в бессмертие.

Но он сам горячо ищет (то есть искал, пока жил, и искал с страданием) примирения; он хотел найти его в «любви к человечеству»: «Не я, так человечество может быть счастливо и когда—нибудь достигнет гармонии. Эта мысль могла бы удержать меня на земле», – проговаривается он. И, уж конечно, это великодушная мысль, великодушная и страдальческая. Но неотразимое убеждение в том, что жизнь человечества в сущности такой же миг, как и его собственная, и что назавтра же по достижении «гармонии» (если только верить, что мечта эта достижима) человечество обратится в тот же *нуль*, как и он, силою косных законов природы, да еще после стольких страданий, вынесенных в достижении этой мечты, – эта мысль возмущает его дух окончательно, именно из—за любви к человечеству возмущает, оскорбляет его за всё человечество и – по закону отражения идеи – убивает в нем даже самую любовь к человечеству. Так точно видали не раз, как в семье, умирающей с голоду, отец или мать под конец, когда страдания детей их становились невыносимыми, начинали ненавидеть этих столь любимых ими доселе детей именно за *невыносимость* страданий их. Мало того, я утверждаю, что сознание своего совершенного бессилия помочь или принести хоть какую—нибудь пользу или облегчение страдающему человечеству, в то же время при полном вашем убеждении в этом страдании человечества, может даже *обратить в сердце вашем любовь к человечеству в ненависть к нему*. Господа чугунных идей, конечно, не поверят тому, да и не поймут этого вовсе: для них любовь к человечеству и счастье его – всё это так дешево, всё так удобно устроено, так давно дано и написано, что и думать об этом не стоит. Но я намерен насмешить их окончательно: я объявляю (опять—таки *пока* бездоказательно), что любовь к человечеству даже совсем немислима, непонятна и *совсем невозможна без совместной веры в бессмертие души человеческой*. Те же, которые, отняв у человека веру в его бессмертие, хотят заменить эту веру, в смысле высшей цели жизни, «любовью к человечеству», те, говорю я, поднимают руки на самих же себя; ибо вместо любви к человечеству насаждают в сердце потерявшего веру лишь зародыш ненависти к человечеству. Пусть пожмут плечами на такое утверждение мое мудрецы чугунных идей. Но мысль эта мудренее их мудрости, и я несомненно верую, что она станет когда—нибудь в человечестве аксиомой. Хотя опять—таки я и это выставлю пока лишь голословно.

Я даже утверждаю и осмеливаюсь высказать, что любовь к человечеству *вообще* есть, как идея, одна из самых непостижимых идей для человеческого ума. Именно как идея. Ее

может оправдать лишь одно чувство. Но чувство—то возможно именно лишь при совместном убеждении в бессмертии души человеческой. (И опять голословно.)

В результате ясно, что самоубийство, при потере идеи о бессмертии, становится совершенной и неизбежной даже необходимостью для всякого человека, чуть—чуть поднявшегося в своем развитии над скотами. Напротив, бессмертие, обещая вечную жизнь, тем крепче связывает человека с землей. Тут, казалось бы, даже противоречие: если жизни так много, то есть кроме земной и бессмертная, то для чего бы так дорожить земною—то жизнью? А выходит именно напротив, ибо только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле. Без убеждения же в своем бессмертии связи человека с землей порываются, становятся тоньше, гнилее, а потеря высшего смысла жизни (ощущаемая хотя бы лишь в виде самой бессознательной тоски) несомненно ведет за собою самоубийство. Отсюда обратно и нравоучение моей октябрьской статьи: «Если убеждение в бессмертии так необходимо для бытия человеческого, то, стало быть, оно и есть нормальное состояние человечества, а коли так, то и самое бессмертие души человеческой *существует несомненно*». Словом, идея о бессмертии – это сама жизнь, живая жизнь, ее окончательная формула и главный источник истины и правильного сознания для человечества. Вот цель статьи, и я полагал, что ее невольно уяснит себе всякий, прочитавший ее.

Карл Ясперс

НЕОБУСЛОВЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ВЕДУЩИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ НАЛИЧНОГО БЫТИЯ

Я могу укрыться от пограничных ситуаций, прерывая и забывая их. Я могу их стойко вынести, если перед их лицом в этом мире я делаю то, что возможно. Я могу выйти за их пределы, покидая наличное бытие, либо совершив абсолютный шаг, самоубийство, либо вступив в непосредственную связь с Богом. Религия дает нам возможность остаться в этом мире вместо того, чтобы покончить с собой, но она в конечном счете, то есть если не использовать ее для того, чтобы укрыться от пограничных ситуаций, вынуждает нас покинуть этот мир, оставаясь в мире, а именно, посредством аскетизма, бегства от мира и жизни вне мира, испытывая страдания в состоянии наличного бытия или действуя без всякого влечения к нему.

САМОУБИЙСТВО

Психиатры, обозначая самоубийство термином «суицид», относят тем самым этот поступок к сфере чистой объективности. Литераторы называют самоубийство «свободной смертью» и, наивно предполагая существование высшей человеческой возможности, в каждом случае представляют этот поступок в несколько розовом свете, а это опять—таки скрывает его истинный смысл. Только слово «самоубийство» с необходимостью требует, вместе с осознанием его объективности как факта, представить весь ужас заключенного в данном поступке вопроса. Первая часть этого слова «само» выражает свободу, которая уничтожает наличное бытие этой свободы (в то время как прилагательное «свободная» говорит слишком мало, если бы отношение к самому себе в этом слове считалось уже преодоленным). Вторая же часть слова «убийство» выражает активность, проявляющуюся в насилии по отношению к тому, кто решился на этот шаг в силу неразрешимых внутренних противоречий (тогда как слово «смерть» соответствовало бы чему—то, аналогичному пассивному участию).

Человек не может пассивно жить, но он не хочет и пассивно умереть. Он живет благодаря активности и только посредством активности он может покончить с жизнью. Наше наличное бытие в том виде, в каком оно существует, делает невозможным пассивное участие в том случае, если мы этого желаем. Чистая пассивность существует только в естественной смерти, вызванной болезнью или насильственными действиями извне. Такова наша ситуация.

Самоубийство – это единственное действие, которое освобождает нас от всякой дальнейшей деятельности. Смерть, являющаяся для подлинного существования (Existenz) главной пограничной ситуацией, это событие, которое само приходит и которое не зовут. Только человек после того, как он узнает о смерти, стоит перед возможностью самоубийства. Он может не только сознательно рисковать жизнью, но решать, хочет ли он жить или нет. Смерть относится к сфере его свободы.

1. Самоубийство как факт

Поступок, который как таковой не является с необходимостью необусловленным, будучи предметом статистического и специального исследования, никогда не может быть признан необусловленным с точки зрения психологических теорий. Только на границе предметного познания, использующего эмпирические методы исследования, самоубийство всплывает в качестве философской проблемы.

Исследования частоты случаев самоубийств показывают, что в Европе среди германских семей случаи самоубийств более часты, чем среди представителей других народов. Согласно

этим данным, больше всего самоубийств в Дании. В Германии же в северных провинциях их число больше, чем в южных. С возрастом частота самоубийств увеличивается и становится наибольшей в возрасте 60–70 лет. Затем она снова падает. Статистика также свидетельствует, что пик самоубийств приходится на май—июнь и что в протестантских странах они совершаются чаще, чем в католических.

Эти и другие цифры, точные данные которых можно найти в статистических исследованиях, касающихся вопросов нравственности, ничего не говорят о душевном состоянии человека. Они не дают никакого закона, которому мог бы подчиниться индивидуум. Эти статистические закономерности только в случае больших обобщений дают представление об общем психологическом типе народов, возрасте и поле самоубийц. Они также указывают на те причины, которые, наряду с другими факторами, влияют, но не определяют характер самоубийства в каждом отдельном случае.

Лишь со стороны кажется, будто статистика указанных побудительных мотивов более глубоко проникает в психологические аспекты проблемы. Она раскрывает определенные закономерности на основе анализа процентного соотношения числа самоубийств, совершенных вследствие пресыщения жизнью, телесных страданий, пристрастий и порочных наклонностей (в том числе морфинизма и алкоголизма), а также вследствие печали и горя, раскаяния и страха перед наказанием, гнева и ссоры. Однако эти закономерности, пожалуй, скорее выражают типичные оценки события со стороны близких родственников покойного и полицейских, чем действительного психологического состояния самоубийств. Кто однажды пережил самоубийство близкого для него человека, тот, если он человеколюбив и хоть немного одарен прозорливостью, на собственном опыте убедится, что это событие нельзя понять на основе одного—единственного побудительного мотива. В конечном счете всегда остается какая—то тайна. Но из—за этого нельзя прекращать усилий, направленных на то, чтобы понять то, что можно установить и узнать эмпирически.

Самым простым кажется предположить душевную болезнь. Некоторые доходят до того, что каждого самоубийцу объявляют душевнобольным. В этом случае исчезает вопрос о мотивах. Решение проблемы самоубийства лежит за пределами здравого смысла. Однако это не так.

Существуют душевные заболевания в собственном смысле этого слова, которые начинаются в определенный момент времени и закономерное протекание которых либо сопровождается прогрессом болезни, либо ведет к исцелению. Для здорового человека, выступающего в роли наблюдателя, а при исцелении и для считавшихся больными пациентов эти болезни представляются чем—то чуждым. Критически настроенный специалист может с достаточной достоверностью установить такого рода душевные заболевания по их специфическим симптомам. На основе статистических данных можно сделать вывод, что в настоящее время в Германии примерно только одна треть самоубийств совершается душевнобольными. Но и для этой трети не снимается вопрос о доступных для понимания мотивах поведения. Самоубийство не является следствием душевной болезни в том смысле, в каком лихорадка является следствием инфекции. Возможно, здесь влияние оказал совершенно непонятный биологический фактор болезни. Однако только душевные факторы, возникшие на почве болезни, ведут к самоубийству у некоторых, но не у всех больных. В состоянии меланхолии невыносимое чувство страха непосредственно ведет к самоубийству, которое к тому же может быть осторожно подготовлено. В состоянии слабоумия поражает инстинктивное стремление человека к самоубийству, особенно вследствие использования разных необычных средств. Если здесь в одном случае может показаться достаточным указание на психотическую зависимость (*psychische Kausalität*), то в другом случае душевнобольной способен отреагировать на свое заболевание путем обращения к бытию собственного Я, которое защищает себя в акте самоубийства.

Среди двух третей самоубийц, которые не являются душевнобольными, имеется очень большое число людей с отклонениями от нормы. Однако это не означает, что самоубийство

можно было бы понять на основе этих отклонений от нормы. Напротив. Эти отклонения от нормы психического и невротического характера фиксируются так часто, что отсутствует какая —либо четкая граница между ними и изменениями в рамках нормы. Они еще в меньшей мере, чем душевная болезнь, мешают анализу разумных мотивов совершения самоубийства.

Ни душевная болезнь, ни психопатия не означают выхода за пределы смысла. Они являются только особыми каузальными условиями для экзистенции в действительном наличном бытии, подобно тому, как мы в каждый момент жизни обладаем наличным бытием только благодаря такого рода нормальным, но не доступным нашему пониманию условиям (к числу которых относятся жизненная сила нашего тела, воздух и питание). Правда, данные психопатологии дают нам эмпирическое знание относительно причин, действующих чаще всего неопределенным образом. Однако, если их используют для анализа вполне определенного случая, то они никогда полностью не раскрывают человека как существо, обладающее подлинным бытием (Existenz). Это подлинное бытие, поскольку оно вообще проявляется в наличном бытии, хотя и обусловлено в этом своем проявлении, но не обусловлено этими реальными факторами. Всякое эмпирическое знание о человеке, оказавшемся на границе своих возможностей, требует постановки вопроса о подлинном бытии в возможной или действительной коммуникации.

2. Вопрос о необусловленном

Если мы, не ссылаясь на частные примеры, спрашиваем о разумных мотивах поведения, то мы вступаем в иную сферу. Разумное в качестве мыслимого является только проектом некоторой возможности, но никогда не является в полной мере реальностью. В любой момент оно действительно только вместе с тем, что нельзя понять: нельзя понять не только причины наличного бытия души, но и необусловленность экзистенции, которая выражается в том, что можно понять, но является свободным первоисточником, который как таковой остается тайной для всякого понимания. Отдельно взятый случай самоубийства как необусловленное действие нельзя понять на основе общего каузального закона или некоторого идеального типа в силу абсолютной уникальности реализующейся в нем экзистенции.

Таким образом, акт самоубийства может быть познан, исходя из его оснований только в его обусловленности, а не как необусловленное действие. Но поскольку он может быть свободным действием экзистенции в пограничной ситуации, то он открыт для возможной экзистенции, ее вопроса, ее любви и ее страха. Поэтому он является предметом этической и религиозной оценки, либо отвергается, либо допускается или даже требуется. Необусловленный первоисточник самоубийства остается невыразимой в коммуникации тайной одинокой личности. Если самоубийцы оставляют после себя признания о мотивах своего поступка, то все же остается вопрос, понимал ли он самого себя. Мы нигде не сможем услышать голос необусловленного источника, принявшего решение. Можно только реконструировать возможные мотивы поведения самоубийцы, руководствуясь целью не понять, а, выходя за пределы возможностей всякого понимания, высветить необусловленность в ее первоисточнике.

В некоторый момент кажется, что конструкция делает понятным самоубийство, но только для того, чтобы затем еще решительнее потерпеть крушение, столкнувшись с его непостижимостью.

Экзистенция, находясь в состоянии пограничной ситуации, ставит под сомнение смысл и содержание всякого наличного бытия. Она говорит себе: «Все преходяще; что мне радости жизни, если все гибнет! Вина неизбежна. В конечном счете, повсюду наличное бытие – это нищета и горе. Всякая гармония является обманом. Нельзя узнать ничего существенного. Мир не дает никакого ответа относительно того, что мне следовало бы знать, чтобы правильно жить. Я не был согласен с тем, что я хочу эту жизнь, и не способен ничего увидеть, что могло бы меня заставить сказать этой жизни «Да». Я удивляюсь только тому, что большинство людей живет

беспечно в свое удовольствие, подобно курам в саду, которых завтра зарежут. Для того, кто так рассуждает, единственный смысл заключается в том, чтобы совершенно сознательно, не поддаваясь превратностям момента или возникающим аффектам, перевести это отрицание жизни из области мышления в сферу действия. Определенная конечная ситуация становится только поводом, но она не является источником принятого решения. Отрицающая ее свобода, хотя и не может иметь основания в этом мире, но, уничтожая саму себя, она может оставить определенную частицу своей субстанции. Для себя самой она является чем—то большим, нежели ничтожность этого бытия. Она спасает свой суверенитет, говоря «нет» своему экзистенциальному самосознанию.

Однако эта конструкция здесь рушится: причиной самоубийства здесь была несубстанциальность всего. Но акт свободы, выраженный с предельной ясностью, в самом начале своего существования должен был бы привести к осознанию субстанции. В этот момент мы касаемся края пропасти и неожиданно снова приходим к утверждению наличного бытия как пространства, в котором осуществляется только что начавшийся опыт. Правда, тот, кто, сохраняя тайну необусловленности, принял решение, не может повернуть назад, ибо он должен был бы сказать: поскольку я принял решение, я не могу остановиться; ибо решительность составляет смысл жизни. Но я удостоверяюсь в существовании субстанции благодаря тому, что я воспринял границы этого решения как возможность и не сомневался в том, что покончить с жизнью выше моих сил. Так как только мир является для нас тем местом, где экзистенция предстает в своей действительности, то в тот момент, когда субстанция осознает себя как таковую, у нее возникает желание развернуться в этом мире. Таким образом, эта конструкция, доведенная до своего логического конца, как раз не позволяет осуществиться самоубийству. Если оно тем не менее совершилось, то такого рода конструкция не дает нам никакого понимания этого факта. Если бы я продолжал конструирование, то для того, чтобы понять фактически совершившееся самоубийство, я должен был бы признать неясность в некотором конфликте, приведшем к самоубийству, которое к тому же перестает быть необусловленным действием. Или мне следует покинуть путь такого рода конструирования: позитивную близость к небытию в его трансцендентном осуществлении как первоисточнике необусловленности можно было бы, правда, признать, но нельзя было бы понять. С судьбой конфликта меня связывает сострадание и боль, возможно, из—за того, что была упущена возможность решения. Однако меня охватывает ужас перед лицом этой трансцендентной реализации в небытии. В рационально организованном мире не дает покоя вопрос: «Является ли такая реализация истинной?»

Никто не может привести случай, который доказывал бы правильность этой конструкции. Ведь эмпирически действительным всегда является только внешнее, которое, в свою очередь, должно иметь основания вне себя. Так как экзистенция воспринимается исходя из возможной экзистенции, то такая конструкция свободы может быть принята только как негативность, а возможность трансцендентной реализации в небытие только ошибочно может быть принята за знание. Как таковое оно стало бы опасным для имеющих место реальных конфликтов, в которых подобная философия по совершенно другим мотивам могла бы служить для не обладающего ясным сознанием самоубийцы в качестве внешней стороны его сознания, вводящего самого себя в заблуждение.

Свобода отрицательного в этой конструкции принимает в качестве возможности много образов: в случае обладания бедной субстанцией самобытия (Selbstsein) и чрезвычайно большой одаренностью человек может так много пережить, понять и осознать, что в качестве самого себя он, при всей полноте своих переживаний и мыслей, воспринимает себя в своей многозначности как небытие. Для него все является скорлупою, расположенной поверх скорлупы некоторого проблематичного ядра. Если он спрашивает себя о себе, то кажется, будто он растворяется. Тогда он ищет себя, либо постоянно окунаясь в новые, захватывающие его в данный момент новые переживания, не будучи при этом в состоянии остановиться на каком—нибудь

из них, поскольку всякое бытие, вводя его в заблуждение, исчезает от него в качестве его собственного бытия; либо он ищет себя посредством ряда негативных актов, в которых он хочет преодолеть себя путем отказа, который осуществляется в аскезе, в формальном следовании данным или даже созданным законам, не прибегая к посторонней помощи и не осознавая в отрицании себя в качестве самобытия. Самоубийство понимается как последний акт и вершина такого отрицания, поскольку он полагает, что окончательно удостоверяется в своей субстанции. В этот момент скорлупа кажется совсем близкой. Поэтому необустроенный источник акта самоубийства должен был бы корениться в чем—то другом: если в страстном влечении к ночи смерть с давних пор стала чем—то близким и даже позитивным, то возврату к жизни препятствует готовность отдаться невыразимой трансценденции.

В другой конструкции, например, самоубийство становится возможным, если в повседневной жизни нельзя вынести груз обычных обязанностей, постоянно осознавая внутреннее признание, которое не считает этот груз ни чем—то пустячным, ни чем—то существенным, но постоянно преобразует повседневные заботы. Тогда этому наличному бытию противопоставляется идея более истинной жизни и возникают трения, не ведущие к каким—либо плодотворным результатам. Вместо того, чтобы расти в историчности непрерывного действия, самосознание только всегда уничтожает себя. Человек чувствует себя лишним; ибо он только мешает другим.

Он бессмысленно страдает. Возможно его охватывает страстный порыв, с высоты которого он отбрасывает эту жизнь, видя, как его охватывает прежняя тоска. Он хочет отказаться от жизни не тогда, когда он находится в жалком состоянии, а когда торжествует. Жизнь изначально должна быть богатой либо ее вообще не должно быть. В состоянии счастья, в веселом настроении, которое было подготовлено в течение многих дней, он уходит из этого мира без единого слова, в крайнем случае говоря только об удивительном покое, охватившем его, инсценируя несчастный случай. Это было бы самоубийство в состоянии ясного опьянения, осознанности, которая едина с собой и своей трансценденцией небытия (*Transzendenz des Nichts*), но в этом мире прерывает всякую коммуникацию, когда никто не оставляет никаких признаков. Согласие разрушить все исходя из утверждения жизни было бы здесь подобно весне, когда происходит большая часть самоубийств, а также природе, которая постоянно созидает и разрушает. То, что самоубийца, как нам представляется, доказывает, но чего уже не происходит в состоянии необустроенности, это кажется проявлением изначального неверия, которое выражается либо в том, что он не осознает своего собственного Я в абсолютном сознании, либо в том, что он, находясь в пограничных ситуациях, объявляет ничтожным всякое наличное бытие, либо в том, что отрицание наличного бытия он переживает как свою единственную свободу, либо в том, что он в состоянии торжества жизни воспринимает смерть как истину жизни. Нельзя опровергнуть то, что самоубийца, например, думает и осуществляет на основе неопровержимых фактов. Следовать таким мыслям означало бы превращать самоубийство в конец, который можно очень легко понять, тем более что обращение к жизни в момент готовности, возникающей вследствие осознания субстанции как таковое не является логически строгим следствием, а в качестве самой мысли является только выражением возможной веры. Вопрос «Почему совершается самоубийство?» возвращает нас к вопросу

3. «Почему мы остаемся жить?»

Прежде всего потому, что мы руководствуемся жадной жизни, не задавая себе никаких вопросов. Даже если мы задались вопросом, если всякая трансценденция исчезает от нас и все становится объективно бессмысленным, мы все же продолжаем дальше жить изо дня в день в тупой неясности благодаря нашей жизненной силе (*Vitalitat*), возможно, презирая при этом самих себя. Поскольку мы в течение долгих периодов жизни ведем такое основанное на жиз-

ненной силе эмпирическое существование, мы питаем уважение к самоубийце, который, опираясь на свободу, сопротивляется абсолютности основанного на жизненной силе наличного бытия. Правда, мы, руководствуясь жизненной силой, испытываем страх перед самоубийцей. Мы говорим, например, что опасно следовать подобным душевным порывам и мыслям, что нужно придерживаться того, что считается нормальным и здравым. Но такой ход является сокрытием, если таким образом мы препятствуем тому, чтобы поставить под сомнение нашу слепую жизненную силу. Мы хотели бы избежать пограничных ситуаций, но не можем успокоиться, потому что жизнь отдана в распоряжение жизненной силе, которая однажды покинет нас.

Или мы живем, не только руководствуясь жизненной силой, но и подлинно существуя (existierend). Однако в силу самодостоверности наших свободных действий наличное бытие получает свой символический характер. В жизни удерживает нас не какой—то смысл, который мы сознательно рассматриваем в качестве конечной цели жизни в этом мире, а присутствие трансценденции в тех жизненных целях, которые нас наполняют. Эта жизненная воля представляет для нас концентрированное выражение того, что в настоящий момент является для нас действительным. Бесконечность возможного и абсолютные критерии общего плана привели бы к отрицанию наличного бытия, если бы они уничтожили сознание историчности. Если поэтому перед лицом самоубийства, осознавая серьезность ситуации и находясь в состоянии кризиса, мы воспринимаем жизнь, не только руководствуясь жизненной силой, но и подлинно существуя, то такой жизненный выбор является одновременно ограничением самим по себе. Поскольку такое ограничение означает исключение возможностей, то отрицание, вместо того чтобы распространиться на все наличное бытие, поглощается этим наличным бытием. Отказаться себе в чем—то, согласиться с утратой возможностей, потерпеть крах, выдержать взгляд, проникающий во все уничтожающее наличное бытие, — все это заставляет наличное бытие измениться. Оно потеряло бы свою абсолютность, которой оно обладает ради жизненной силы. Если бы этот мир был всем, то с экзистенциальной точки зрения оставалось бы только самоубийство. Только символический характер наличного бытия позволяет нам, не обманываясь гармонией бытия, сказать, осознавая его относительность: «Какова бы ни была жизнь, она хороша». Собственно, это слово может быть истинным только во взгляде, обращенном назад, но его возможности достаточны для того, чтобы ухватиться за жизнь.

На вопрос «Почему мы остаемся жить?» можно в конечном счете ответить так: решение жить существенно отличается от решения покончить с собой. В то время как самоубийство в качестве активного действия касается жизни в целом, всякая активность этой жизни является частичной и решение остаться жить по сравнению с возможностью самоубийства является упущением. Так как я не дал себе эту жизнь, то я только решаю, позволить ли существовать тому, что уже есть. Нет соответствующего тотального действия, посредством которого я лишаю себя жизни. Поэтому существует только страх самоубийства, который переходит некоторую границу, за пределы которой не проникает никакое знание.

4. Невыносимость жизни

Утверждение, что жизнь хороша, не является абсолютно истинным, иначе оно должно было бы считать хорошим и самоубийство. Для подлинного существования жизнь может стать невыносимой из—за ситуаций, в которые мы попадаем, и изменения нашей собственной жизненной силы. Самоубийство могло бы стать действием, не обусловленным этими условиями, но не действием, с абсолютным убеждением направленным на наличное бытие вообще, а личной судьбой, которую следовало бы понимать в ее специфических обстоятельствах. Возможной является следующая конструкция.

Для одинокого человека, находящегося в состоянии полной покинутости и осознающего небытие, свободный выбор смерти подобен возвращению к себе домой. Измученный жизнью

в этом мире, не имея больше сил продолжать борьбу с самим собой и с этим миром, находясь в состоянии отчаяния из—за болезни или старости, оказавшись перед угрозой скатиться ниже собственного уровня, человек хватается за утешительную мысль, что можно лишить себя жизни, поскольку смерть кажется ему спасением. Где в этом мире соединяются неизлечимое телесное заболевание, недостаток средств и полная изоляция, там совершенно осознанно и без всякого нигилизма может быть отвергнуто не собственное наличное бытие вообще, а то, которое еще могло бы теперь остаться. Это граница жизни, где продолжение жизни уже не может быть обязанностью: если процесс самостановления уже невозможен, то физическое страдание и требования этого мира становятся настолько губительными, что я не могу больше оставаться тем, кем я был. Правда, это происходит в том случае, если меня не покидает храбрость, а вместе с силой исчезает физическая возможность и если нет никого в мире, кто своей любовью мог бы поддержать мое наличное бытие. Самому сильному страданию может быть положен конец, несмотря на то и потому, что готовность жить и поддерживать коммуникацию является наивысшей.

Совершенно одинокий человек, которому люди, составляющие его ближайшее окружение в этом мире, к тому же разъясняют, что они живут в иных мирах, и для которого осуществление любого дела чревато потерями, который сам по себе не способен достичь чистоты сознания бытия, который видит, как он скатывается вниз, если он затем, не упорствуя, спокойно и зрело все взвесив, лишает себя жизни после того, как он привел в порядок свои дела, то он может, пожалуй, сделать это таким образом, как если бы он принес себя в жертву. Самоубийство становится последним свободным актом этой жизни. Оно сохраняет доверие, спасает чистоту и веру, не ранит ни одного из живущих людей, не прерывает коммуникации и не совершает предательства. Оно стоит на границе невозможности осуществления (Nichtverwirklichenkonpens), и никто ничего не теряет.

Но и эта конструкция самоубийства в ситуации невыносимости жизни не является подлинным пониманием проблемы. На ее основе можно только высветить способность вынести глубочайшую нищету нашей жизни и ее возможного еще в любом случае опыта, исходя из неисследованности трансценденции:

Г л о с т е р:

Я понял все. Отныне покоряюсь
Своей судьбе безропотно покамест
Она сама не скажет: «Уходи».
О, всеблагие боги! Вас молю:
Возьмите жизнь мою, чтоб нрав мой слабый
Мне вновь самодовольства не внушил.

Э д г а р:

Опять дурные мысли? Человек
Не властен в часе своего ухода
И срока своего прихода в мир.
Но надо лишь всегда быть наготове.

(Перевод Б. Пастернака)

5. Стечение обстоятельств

Наконец, можно сконструировать такую возможность самоубийства, которая не является необусловленным действием в пограничной ситуации, а совершается при определенном стечении обстоятельств. Руководствуясь конечными мотивами и не обладая ясным экзистенци-

альным сознанием, человек в неопределенном и неясном бегстве отказывается от жизни под влиянием таких аффектов, как упрямство, страх и чувство мести. Это имеет место в случае экономического краха, осознания совершенного преступления, обморочного состояния из— за нанесенного оскорбления, а также тогда, когда уязвлено мелкое самолюбие. Самоубийство становится психологически понятным на основе предпосылки наличия такого стечения обстоятельств, которое самосознание не способно ни осознать ни распутать. Человек действительно не знает, что он делает. В данном случае психологическое понимание означает одновременно и оценку, ибо оно видит выход из данной запутанной ситуации.

Примеры. Самоубийство – это обольщение в состоянии отчаяния, возникающего при осознании ничтожности и сопровождаемого ненавистью к самому себе и другим. Как имеется обыкновенная ярость в случае получения телесной травмы, так имеется и простое упрямство в случае отклонения требования с другой стороны. Затем гордость, которая в противном случае породила бы тенденцию упрекать другого человека, как только окажется раздутой, может искать вину в себе и в смущении идти путем, ведущим к прерыванию коммуникации. Но далее возникает опасность растратить себя в лишенном экзистенциальных основ (existenzlosen) самоубийстве и решить с его помощью те проблемы, которые можно было бы решить в наличном бытии. Или другой пример. Спрашивают о самоубийстве, и мысль привыкает к этой возможности. Она используется в качестве угрозы в борьбе с самим собой как утешение, которое мы находим в чувстве собственной ничтожности. Делаются приготовления, они даже еще необязательны. Ситуации развиваются так, что в конце концов кажется, будто нельзя уже более вернуться назад. Хотя воли к самоубийству уже совершенно нет, оно все же совершается в полном отчаянии вследствие стыда и неясного чувства неотвратимости.

6. Экзистенциальная позиция по отношению к самоубийству в случае оказания помощи и осуждения

Если кажется, что кому—то угрожает самоубийство, то доверительное спасение может происходить следующим образом: при психозах единственным средством спасения считается надзор за больным в течении всего времени опасности. В случае конечных коллизий, которые можно понять, задача состоит в том, чтобы разрешить данный конфликт. В случае, когда предполагают безнадежную болезнь или другую угрозу жизни, то убедительное сообщение о возможном благоприятном исходе является тем способом, который помогает отсрочить самоубийство. Эти способы оказания помощи касаются самоубийства как действия, обусловленного причинами, которые можно понять. Но действию, совершенному необусловленно, ничто не поможет. Решительность, которая есть нечто большее, чем любой аффект, и которая как таковая уже вышла за пределы наличного бытия, обладает совершенным молчанием.

В случае неясного осознания бытия помощь, направленная на то, чтобы прояснить пограничную ситуацию, является путем, хотя и пробуждающим жизнь, но все же опасным. В качестве пробуждающего пути он вырывает человека из конфликта конечных интересов, а в качестве опасного он может как раз привести к ясному осознанию необусловленности небытия, выраженному в воле самоубийцы. Если затем непостижимая необусловленность становится действительной в качестве возможности абсолютного отрицания, то, по—видимому, нет никакого спасения. Самоубийца ни с кем не говорит необусловленно, и для оставшихся в живых его конец покрыт мраком. Именно в абсолютном одиночестве никто не может помочь.

В пограничных ситуациях все действия по своему смыслу настолько непосредственно касаются нас самих, что никто не может помочь нам принять решение. Ведь даже в одной и той же пограничной ситуации, касающейся одного и того же действия, двое людей, находящихся в коммуникации, не всегда могут достаточно ясно выразить свои чувства, подобно тому, как этого не могут сделать двое влюбленных, совершающих одновременно самоубийство. Нельзя

кому—либо советовать или кого—либо уговаривать, обращаясь к его безусловному истоку. Никто не может необусловленно спросить другого, должен ли он делать это. В среде рассуждений, предназначенных для сознания вообще, перестает существовать безусловность.

Абсолютное одиночество остается без помощи. Необусловленное отрицание как источник самоубийства означает изоляцию. Поэтому у, если коммуникация удастся, то это означает спасение. Высказывания планирующего самоубийство – это уже поиск, если они являются выражением любви к тому, кто имеет на него право. Это шанс, ибо приоткрыта тайна. Поэтому главное состоит в том, отвечает ли экзистенция тому, кто находится в пограничной ситуации. Его ответ должен был бы проникнуть в душу так же глубоко, как это раньше делало сознание, ибо наше *Я* и наличное бытие ничего не стоят. Однако не является главным то, что совершается на основе аргументации, опирающейся на разумные основания, не дружеское расположение и уговоры, а только такая любовь, поведение которой не обсуждается, ведет нас, не руководствуясь каким—либо планом, хотя она повсюду необусловленно стремится к рациональной ясности. Такая любовь в своей наивысшей раскованности и прозорливости позволяет все и требует всего. Однако любовь, основанная на энтузиазме, невозможна по отношению к каждому человеку и всем его близким. Ее нельзя желать. Она является не человеколюбием исповедника и невропатолога или же мудростью философа, а тем единичным актом любви, в котором начинается подлинное существование человека, когда включаются все его резервы и он не имеет никаких скрытых мыслей. Поэтому только она вместе с влюбленным, которому угрожает опасность, вступает в пограничную ситуацию. Для него помощью в конечном счете является только то, что он любим. Эта помощь неповторима, неподражаема и несводима ни к каким правилам.

Если тот, кому угрожает опасность, говорил о самоубийстве, то он мог просто искать помощи. Это не следует смешивать с тем случаем, который нельзя объективно отличить от данного, когда намерение совершить самоубийство высказывается с целью оказать влияние на другого человека и тем самым придать себе значение. Характеризовать необусловленные действия как преднамеренные означает лишить их необусловности. Они становятся предметом обсуждения с его аргументацией «за» и «против», становятся средством для другого.

Когда мои мысли необусловлены, я не могу сказать: я лишу себя жизни. Эти слова не являются истинными, как и вообще попытка распространить данное суждение на все случаи, как мы это делаем, например, когда говорим: «Все это обман», «Я все это себе только внушил», «Мне все безразлично». С помощью такого рода суждений я впадаю в самообман, вводя в заблуждение другого. Эти суждения, исходя из обусловленных аффектов, высказываются о необусловленном. Такое высказывание является пустым, потому что оно невыполнимо. В таких случаях самообман только возрастает; он уже не является необусловленным действием, а обуславливает при неясном стечении обстоятельств. Действительно совершаемое действие как действительное еще не является экзистенциальным. Такие движения души, как отчаяние и ярость, ослепляют. Эти слова, несмотря на то, что они выражены в несколько темной форме, могут быть неясным выражением некоторой истины, а именно выражением инстинктивного желания найти таким образом помощь и вернуться к самому себе.

Но по отношению к мертвому самоубийце такая позиция сразу становится иной. Правда, возможную экзистенцию охватывает ужас перед самоубийцей: перед безверием, прерыванием коммуникации, одиночеством. То, что казалось только возможным в качестве границы, здесь является действительностью. Однако суверенный произвол свободы добывается не только вниманием. Этот произвол, находясь выше всякой пропасти безверия, которое самоубийца в пограничной ситуации выразил посредством своего самоуничтожения, в раскалывающейся трансценденции сам связывает любящего человека с самоубийцей. В его поступке бытие говорит еще через посредство необусловленного отрицания. Если кажется, что все упреки нигилистически настроенного самоубийцы справедливы, то своим поступком и своей экзистенцией само-

убийца словно бы опровергает их. По отношению к мертвому такая оценка преждевременна. Его называли трусом и защищали самих себя, затемняя ситуацию, ведущую в бездну. Таким образом, ни один путь не ведет к пониманию его подлинного существования. Если говорят, что он отбросил Бога, то нужно ответить: это касается самого человека и его Бога, мы ему не судьи. Если говорят, что он нарушил обязательства по отношению к живым, то нужно ответить: это касается только тех, кто с ним общался. Самоубийство означает, пожалуй, прерывание коммуникации. Коммуникация является действительной только в той мере, в какой я верю другому, что он не покинет меня. Если он угрожает самоубийством, то он тем самым ограничивает коммуникацию условиями, то есть он намерен прервать ее в корне. Самоубийство тогда становится чем—то вроде заблуждения другого человека, с которым солидарная жизнь в коммуникации была настоящей только в единстве судеб: позиция, которую я занял, состояла в том, чтобы быть в присутствии другого и вступить в коммуникацию, а я словно бы убегаю. В случае осуществленной коммуникации самоубийство является чем—то вроде предательства. И, несмотря на все это, если участники коммуникации осознают факт предательства и чувствуют себя брошенными на произвол судьбы, то они должны спросить себя, в какой мере они сами из—за отсутствия коммуникации и недостатка любви были виноваты в случившемся, и тогда они, возможно, увидят бездну трансценденции, в которой невозможность общения упраздняет всякое суждение. Наконец, если говорят, что самоубийца нарушает обязательство по отношению к самому себе, которое требует от него реализовать себя в наличном бытии, то снова следует ответить, что это — тайна самого человека, как и в каком смысле он в действительности «существует». Общий ответ на вопрос, можно ли лишать себя жизни, не был бы безразличен с точки зрения возможности разрешения конфликтных ситуаций. Если в этих ситуациях человек не знает, что он собственно делает, он испугался бы, если бы самоубийство было подвергнуто проклятью, но еще более смущает прославление самоубийства и перспектива посмертной славы. Но такой ответ был бы безразличен для того, кто в полной изоляции, руководствуясь негативной свободой, совершает свой поступок, исходя из безусловности. История самоубийства и его оценки показывают, какие страсти разгорались в споре «за» и «против» самоубийства. Как осуждение самоубийства, так и восхищение им, характеризуют экзистенцию того, кто выносит суждение. Самоубийство может быть актом высшего своеволия, полной самостоятельности. Где в этом мире имеется воля господству над другими, там самоубийство является актом, посредством которого человек может уйти от этого господства. Оно является единственным оружием, которое еще остается у побежденного, чтобы утвердить себя в качестве непобежденного перед лицом победителя подобно тому, как это сделал Катон по отношению к Цезарю. Поэтому самоубийство осуждает тот, кто в глубине души обладает господством. Кто господствует над людьми благодаря тому, что они находят в нем духовную опору и помощь, тот теряет это господство, если человек опирается на свою собственную свободу и ни в ком не нуждается. Самоубийство как обвинение и выпад против превосходящей силы, а также как выход из губительной ситуации может быть выражением самой решительной самостоятельности. Поэтому там, где имело место сознание собственной ответственности перед самим собой, самоубийство не только допускалось философами, но при определенных условиях прославлялось. Нельзя отрицать того, что человек, который совершенно сознательно лишает себя жизни, представляется нашему взору совершенно независимым, полностью опирающимся на самого себя, человеком, который сопротивляется всякому наличному бытию мира, поскольку оно полагается абсолютным или хочет представить себя в качестве приносящего себя в жертву абсолюту и отдает победу своему врагу и победителю. Однако остается наш экзистенциальный ужас.

Николай Бердяев О САМОУБИЙСТВЕ (Психологический этюд)

I

Вопрос о самоубийстве – один из самых беспокойных и мучительных в русской эмиграции. Очень много русских кончает жизнь самоубийством. Многие, если еще и не решались убить себя, то носят в себе мысль о самоубийстве. Потеря всякого смысла жизни, оторванность от родины, крушение надежд, одиночество, нужда, болезни, резкое изменение социального положения, когда человек, принадлежавший к высшим классам, делается простым рабочим, и неверие в возможность улучшить свое положение в будущем – все это очень благоприятствует эпидемии самоубийств. Самоубийство как явление индивидуальное существовало во все времена, но иногда оно становится явлением социальным, и таким оно является в наше время в русской эмиграции, где создается для него очень благоприятная коллективная атмосфера. Самоубийство бывает заразительно, и человек, убивающий себя, совершает социальный акт, толкает других на тот же путь, создает психическую атмосферу разложения и упадка. Самоубийца имеет дело не только с самим собой, и насильственное уничтожение собственной жизни имеет значение не только для него одного. Самоубийца вызывает роковую решимость и в других, он сеет смерть. Самоубийство принадлежит к тем сложным явлениям жизни, которые вызывают к себе двойственное отношение. С одной стороны, сам человек, покончивший с собой, вызывает к себе глубокую жалость, сострадание к пережитой им муке. Но самый факт самоубийства вызывает ужас, осуждение как грех и даже как преступление. Близкие часто хотят скрыть этот страшный факт. Можно сочувствовать самоубийце, но нельзя сочувствовать самоубийству. Церковь отказывает самоубийце в христианском погребении, на него смотрят как на обреченного на вечную гибель. Церковные каноны в этом отношении слишком жестоки и беспощадны, и на практике отношение это принуждены смягчать. Но в этой жестокости и беспощадности есть своя метафизическая глубина. Самоубийство вызывает жуткое, почти сверхъестественное чувство как нарушение божьих и человеческих законов, как насилие не только над жизнью, но и над смертью.

Самоубийство русских в атмосфере эмиграции имеет не только психологический, но и исторический смысл. Оно означает ослабление и разложение русской силы, оно говорит о том, что русские не выдерживают исторического испытания. И бороться с ним нужно прежде всего повышением чувства и сознания своего достоинства, своего призвания. Русский, ощутивший сейчас роковую склонность к самоубийству, не может вызывать к себе слишком строгого и беспощадного отношения. При строгом и беспощадном к нему отношении он всегда вам ответит, что вы находитесь в более привилегированном и счастливом положении и потому не понимаете мучительности и безнадежности его жизни. И нужно прежде всего понять человека, понять сочувственно, поставив себя в его положение. И вот что нужно понять прежде всего. Трудно, очень трудно жить человеку изолированно, одиноко, оторванным от питавшей его родной почвы, чувствовать себя выброшенным в необъятный темный океан чужой ему и страшной жизни. И когда жизнь человека не согрета верой, когда он не чувствует близости и помощи Бога и зависимости своей жизни от благой силы, трудность становится непереносимой. Самое страшное для человека, когда весь окружающий мир – чужой, враждебный, холодный, безучастный к нужде и горю. Не может жить человек в ледяном холоде, он нуждается в тепле. Русская молодежь, рассеянная по всему свету, нередко чувствует себя покинутой на произвол судьбы, беспризорной, предоставленной своим ограниченными силами. Она бьется, пытается отстоять свою жизнь, но иногда изнемогает, теряет силу сопротивления, не выдержи-

вает слишком тяжелых испытаний. Причиной склонности к самоубийству в эмиграции является не только материальная нужда, необеспеченность будущего, болезнь, но еще более ужас, что всегда, до конца дней, придется жить в чужом и холодном мире и что жизнь в нем бессмысленна и бесцельна. Человек может выносить страдания, сил у него больше, чем он сам думает, это достаточно доказано войной и революцией. Но трудно человеку вынести бессмысленность страданий. Ницше говорит, что человек не столько не может вынести страдание, сколько бессмысленности страдания. Страдание, смысл и цель которого сознаны, есть совсем уже иное страдание, чем страдание бесцельное и бессмысленное. Героическое переживание самых тяжелых испытаний предполагает сознание смысла испытываемого.

Русская революция принесла людям неисчислимое количество страданий, она есть великое испытание духа. И вот для того, чтобы выдержать это испытание, перенести эти страдания, нужно сознать, что происходящее имеет какой—то смысл, что оно не есть чистая бессмыслица и потеря. Неверное отношение к революции как к чистой бессмыслице, как к совершенно внешнему несчастью, ударившему по жизни людей, как к случайному порождению кучки злодеев приводит к духовно упадочным настроениям в эмиграции, к ощущению совершенной бессмысленности жизни и толкает к насильственному прекращению жизни. Но такой взгляд на несчастья революции совершенно внешний, не духовный, не религиозный, материалистический, обывательский. В действительности революция есть очень серьезный и трагический внутренний момент в судьбе народов, в судьбе каждого из нас. Революция есть историческое событие, происходящее в нас и с нами, как бы мы к ней ни относились, как бы ни возмущались ее злой стороной, она совсем не есть что—то внешнее для нас и совершенно бессмысленное для нашей жизни. Бессмысленно то, что остается совершенно внешним для нас, никак не связанным внутренне с нашей жизнью. Ведь и к несчастьям и испытаниям в личной жизни — смерти близких людей, болезням, бедности, разочарованию в людях, которые казались друзьями и нам изменили, нужно относиться как к имеющим смысл для личной судьбы, как к внутренним, а не внешним событиям, то есть относиться духовно. Это и есть религиозное отношение к жизни. То же нужно сказать и о несчастьях исторических, войнах, революциях, потери отечества, социальной деградации. Революция есть возмездие за грехи прошлого и искупление. Она говорит об общей вине. Никто не может чувствовать себя изъятым из общей вины, из общей судьбы. И только переживание вины делает революцию переносимой. Революция всегда значит, что силы добра не раскрыли себя творчески в жизни, что накопилось много зла и яда, что необходимо обновление через катастрофу и действие злых сил, если не совершается обновление через благую духовную силу. Человек может находиться в эмиграции, быть непримиримым врагом зла большевизма, но и он должен чувствовать и сознавать, что революция есть внутреннее событие, происходящее и в нем, и с ним и что смысл ее может быть огромным для исторической судьбы народа, хотя и совершенно несоизмеримым с тем, в чем его видят сами деятели революции. Душевная подавленность и утеря смысла жизни будут преодолены, если будет сознано, что мы живем в эпоху великого исторического кризиса и перелома, что наступает новый период истории, что старый мир рушится и создается новый, неведомый еще мир. И каждый человек призван быть деятелем в этом процессе. От проявленной им духовной силы зависит будущее. Но такие эпохи всегда порождают большое количество страданий. Страдания же эти не бессмысленны и не бесцельны. Во что бы то ни стало нужно преодолеть упадочное, разлагающее настроение в русской эмиграции, особенно в молодежи. Эти упадочные настроения вырастают от ложного взгляда на испытания революции, от разочарования в старых способах борьбы против большевизма, от ошибочных идей, мешающих духовно пережить революцию. Борьба против упадочности и склонности к самоубийству есть прежде всего борьба против психологии безнадежности и отчаяния, борьба за духовный смысл жизни, который не может зависеть от преходящих внешних явлений.

II

Самоубийство есть психологическое явление, и, чтобы понять его, нужно понять душевное состояние человека, который решил покончить с собой. Самоубийство совершается в особую, исключительную минуту жизни, когда черные волны заливают душу и теряется всякий луч надежды. Психология самоубийства есть прежде всего психология безнадежности. Безнадежность же есть страшное сужение сознания, угасание для него всего богатства Божьего мира, когда солнце не светит и звезд не видно, и замыкание жизни в одной темной точке, невозможность выйти из нее, выйти из себя в Божий мир. Когда есть надежда, можно перенести самые страшные испытания и мучения, потеря же надежды склоняет к самоубийству. Безнадежность означает невозможность представить себе другое состояние, оно всегда есть дурная бесконечность муки и страдания, то есть предвосхищение вечных адских мук, от которых человек думает освободиться лишением себя жизни. Душа целиком делается одержимой одним состоянием, одним помыслом, одним ужасом, которым окутывается вся жизнь, весь мир. Самоубийца закупорен в своем «я», в одной темной точке своего «я», и вместе с тем он творит не свою волю, он не понимает сатанинской метафизики самоубийства. Человек переживает муку несчастной любви. В одной точке сгущается тьма и вытесняет все многообразие жизни. Человек видит лишь бесконечность, вечность несчастной любви. Он ни в чем не видит никакого смысла, а потому и ничего не видит притягательного в своей жизни. Он перестает видеть смысл в жизни всего мира, все окрашивается для него в темный цвет безнадежной бессмыслицы, все осмысленное вытесняется. Вопрос о самоубийстве есть вопрос о том, что человек попадает в темные точки, из которых не может вырваться. Человек хочет лишиться себя жизни, но он хочет лишиться себя жизни именно потому, что он не может выйти из себя, что он погружен в себя. Выйти из себя он может только через убийство себя. Жизнь же, закупоренная в себе, замкнутая в самости, есть невыносимая мука. Самоубийца – всегда эгоцентрик, для него нет больше ни Бога, ни мира, ни других людей, а только он сам. Для него нет и тех людей, из—за которых он решает покончить с собой. Преодолеть волю к самоубийству – значит забыть о себе, преодолеть эгоцентризм, замкнутость в себе, подумать о других и другом, взглянуть на Божий мир, на звездное небо, на страдания других людей и на их радости. Победить волю к самоубийству значит перестать думать главным образом о себе и о своем. В жизни людей есть опасные темные точки, в которых сгущается бездонная тьма. Если человеку удастся вырваться из этой точки, вырваться из себя, то он спасен, и воля к самоубийству у него может пройти. Вот почему в иные минуты так важна бывает помощь человеку, может спасти сказанное слово или даже взгляд, дающий почувствовать, что человек этот не один на белом свете, который стал для него черным. Психология самоубийства есть психология замыкания человека в самом себе, в своей собственной тьме. Можно даже сказать, что, когда человек находится в эгоцентрическом состоянии, сосредоточен исключительно в себе, на своих страданиях и мучениях, когда теряется для него реальное отношение к другим и другому, он всегда во тьме, в темной яме, которая оказывается бездонной. Всякий свет предполагает для меня существование другого и других, прежде всего предполагается существование Солнца мира. Вот почему так страшно одиночество и покинутость для человека, который не видит и не чувствует Бога. Тогда развертывается бездонная черная яма. Внешнее одиночество и покинутость можно выдержать только с Богом. Один из путей в борьбе против упадочных настроений, влекущих к самоубийству, есть духовное единение людей, духовное содружество. Великая задача человеческой жизни состоит в том, чтобы человек научился выходить из себя, из поглощенности собой к другим людям и миру, к ценностям, имеющим сверхличное значение, а когда человек углубляется в себя, находит не себя только, но и то, что ближе, чем он, находит Бога. Психология самоубийства не

знает выхода из себя к другим, для нее все теряет ценность. В глубине же человека она видит не Бога, а темную пустоту. Вот почему психология самоубийства есть не духовное состояние.

Но было бы большим упрощением рассматривать самоубийство как явление всегда однородное. Существуют очень разнообразные типы самоубийств, и самоубийцы вызывают разные оценки. Люди убивают себя от несчастной любви, от сильной страсти или несчастной семейной жизни; убивают себя от потери вкуса к жизни, от бессилия; убивают от позора и потери чести; от потери состояния и нужды; убивают себя, чтобы избежать измены и предательства; убивают от безнадежной болезни и страха страданий. Покончил с собой человек, которого я очень уважал и любил и считал одним из лучших людей. Причиной его самоубийства была безнадежная болезнь. Я не сужу его. Когда человек убивает себя, потому что его ждет пытка и он боится совершить предательство, то это в сущности не есть даже самоубийство. Самоубийство может быть от совершенного бессилия и от избытка сил. Психология самоубийства так странна, что бывали случаи, когда люди убивали себя от страха заразиться холерой. В этом случае они хотели прекратить невыносимое чувство страха, которое страшнее смерти. Самоубийство может совершиться и по мотивам эстетическим, из желания умереть красиво, умереть молодым, вызвать к себе особую симпатию. Соблазн красоты самоубийства бывает силен в некоторые эпохи, и он заразителен. Самоубийство Есенина, самого замечательного русского поэта после Блока, вызвало культ его личности. Он стал центром упадочных настроений, идеализирующих красоту самоубийства. Но как ни разнообразны мотивы самоубийства и душевная их окраска, оно всегда означает переживание отчаяния и потерю надежды. Исключение можно было бы сделать для римлян времен упадка, которые, как Петроний, насильственно прерывали свою жизнь с полным самообладанием, философски, не в состоянии аффекта. И в этом явлении есть подпочва глубокой безнадежности, да оно и совсем не характерно для нашего времени и для русской среды. Сильные страсти, порождающие непреодолимые конфликты жизни, нередко ведут к самоубийству – любовь к женщине, ревность, азартная игра, похоть власти, страсть к наживе, чувство мести и гнева. Этот тип самоубийства может быть выделен в особую категорию, и в нем самоубийство не есть явление социальное. Меня сейчас наиболее интересует тот тип самоубийства, который можно назвать явлением социальной слабости и упадка.

Самоубийство по природе своей есть отрицание трех высших христианских добродетелей – веры, надежды, любви. Самоубийца есть человек, потерявший веру. Бог перестал для него быть реальной, благой силой, управляющей жизнью. Он есть также человек, потерявший надежду, впавший в грех уныния и отчаяния, и это более всего. Наконец, он есть также человек, не имеющий любви, он думает о себе и не думает о других, о ближних. Правда, бывают случаи, когда человек решается уйти от жизни, чтобы не быть в тягость своим ближним. Это – особый случай самоубийства, не типический, не основанный на эгоизме и на ложном суждении о жизни, он вызывается безнадежной болезнью, совершенной немощью или потерей способности к труду. Некоторые уходили из жизни, чтобы дать место другим, даже своим соперникам. Во всяком случае вера, надежда и любовь побеждают настроения, склоняющие к самоубийству. Даже одна из этих христианских добродетелей может спасти человека от гибели. Самоубийца в преобладающих формах этого явления есть человек уже ни во что не верящий, ни на что не надеющийся и ничего не любящий. Даже самоубийство на эротической почве более свидетельствует о любви к себе, чем к другому человеку. И сама любовь к другому человеку в этом случае бывает грехом идолопоклонства. Человек не верит, не надеется, не любит в то темное мгновение своей жизни, когда он решается покончить с собой. Если ему удастся вырваться из темной точки, миновать ее, то в нем могут пробудиться и вера, и надежда, и любовь. Но он принял это темное мгновение за всю жизнь, за все бытие. В следующее мгновение надежда могла бы пробудиться, но он не дождал до этого следующего мгновения. В этом великая тайна и парадокс времени. В одно мгновение может вобраться целая вечность, и пережитое в это мгновение как бы заполняет собой все бытие. До этого страшного мгновения у человека была

надежда, и она вернулась бы в следующее мгновение, но он принял это мгновение за вечность и решил эту вечность уничтожить, погасить бытие. Человек в сущности никогда не хочет убить себя, да это и невозможно, ибо человек принадлежит вечности, он хочет уничтожить лишь мгновение, принятое им за вечность, в одной точке хочет уничтожить все бытие, и за это посягательство на вечность он перед вечностью отвечает. Неудавшееся самоубийство иногда даже приводит к возрождению жизни, как выздоровление после тяжелой болезни. По видимости, самоубийство может производить впечатление силы. Нелегко покончить с собой, нужна безумная решимость. Но в действительности самоубийство не есть проявление силы человеческой личности, оно совершается нечеловеческой силой, которая за человека совершает это страшное и трудное дело. Самоубийца все—таки есть человек одержимый. Он одержим объявшей его тьмой и утерял свободу. Это типическое явление. Самоубийство есть также проявление малодушия, отказ проявить духовную силу и выдержать испытание, оно есть измена жизни и ее Творцу. Психология самоубийства есть психология обиды, обиды на жизнь, на других людей, на мир, на Бога. Но психология обиды есть рабья психология. Ей противоположна психология вины, которая есть психология свободного и ответственного существа. В сознании вины обнаруживается большая сила, чем в сознании обиды.

III

Означает ли самоубийство нелюбовь к жизни и ее благам? Поверхностно самоубийство может произвести впечатление потери всякого вкуса к земной жизни, окончательной отрешенности от нее. Но в действительности это не так. Самоубийство есть в большинстве случаев особого рода проявление непросветленной любви к земной жизни и ее благам. Самоубийца есть человек, который потерял всякую надежду, что блага жизни могут быть ему даны. Он ненавидит свою несчастную, бессмысленную жизнь, а не вообще земную жизнь, не вообще блага жизни. Он хотел бы более счастливой и осмысленной земной жизни, но отчаялся в ее возможности. Психология, которая приводит к самоубийству, есть менее всего психология отрешенности от благ земной жизни. Люди аскетического типа, напряженной духовной жизни, обращенные к иному миру, к вечности, никогда не кончают жизнь самоубийством. Нужна, наоборот, большая обращенность к временному и земному, забвение о вечности и небе, чтобы образовалась психология самоубийства. Для психологии самоубийства именно временное стало вечным, вечное же исчезло, именно земная жизнь с ее благами есть единственная существующая жизнь, и никакой другой жизни нет. Психология самоубийства совсем не означает презрения к миру и к хорошей жизни в мире. Наоборот, она означает рабство у мира. Человек, духовно свободный от власти мира, никогда не мог бы испытать состояния отчаяния и безнадежности, которое ведет к самоубийству. Он знает, что подлинная радость дается не благами мира, а возрастанием в духовной жизни и близостью Бога, что подлинная жизнь есть вращение в вечность. Но человек, вращающийся в вечность, никогда не пожелает насильственно свою жизнь во времени. Свобода от мира дается возрастанием в духовной жизни. Когда человек кончает жизнь самоубийством, то его убивает мир, ставший для него слишком горьким, в то время как сладость мира он считал единственной настоящей и подлинной жизнью. Яд, который человек в порыве отчаяния принимает внутрь, пуля, которую он пускает себе в лоб, река, в которую он бросается, – все это есть уничтожающий его «мир», во власти которого он находится. Когда человек глубоко и жизненно проникается той мыслью, что жизнь в этом мире, в этом времени не есть единственная и окончательная жизнь, что есть иная, высшая, вечная жизнь, ему никогда не придет в голову мысль покончить с собой. Тогда является перед человеком бесконечная задача вращения в вечность, духовного восхождения, освобождения от власти дурной, несчастной, бессмысленной жизни мира. Победить волю к самоубийству – значит победить власть «мира» над своей судьбой. Вот в чем основной парадокс самоубийства.

Самоубийца есть менее всего человек, способный к жертве своей жизнью, он слишком привязан к ней и погружен в ее мрак. Самоубийство есть погруженность человека в себя и рабство человека у мира. Самоубийство эгоистично, и оно противоположно жертве своей жизнью во имя других, во имя какой—нибудь идеи, во имя своей веры. Если бы человек, решивший покончить с собой, был еще способен на жертву, то он остался бы жить, он совершил бы жертву, приняв тяготу жизни. Если бы самоубийца в роковую минуту способен был думать о других и совершить для других жертву, рука бы его дрогнула и жизнь его была бы спасена. Власть мира над самоубийцей выражается не в том, что он способен думать о мире, отрешившись от себя, забыв о себе, а в том, что он весь поглощен страданиями, которые ему мир приносит, и отчаянием от того, что мир никогда не принесет желанных благ. Это значит, что в отношении к миру он ориентирован эгоцентрически. Но эгоцентрическая ориентировка всегда и есть источник рабства. Потеря вкуса к миру и к жизни, когда все становится невыносимо скучным, есть самоубийственное настроение, но оно не значит, что человек свободен от власти мира. Человек хотел бы, чтобы мир имел для него вкус, возбуждал его, привлекал его, и мучается, что это прошло и уже невозможно. Тут прикованность к миру, хотя в отрицательной форме, остается полностью. История, правда, знает самоубийства по обязанности: рабов, когда умер их господин, жен, когда умер их муж. Эти самоубийства, конечно, не эгоцентричны, но они и совсем не характерны для современной, наиболее типической психологии самоубийства.

Самоубийство есть не только насилие над жизнью, но есть также насилие над смертью. В самоубийстве нет вольного принятия смерти в час, ниспосылаемый свыше. Самоубийца считает себя единственным хозяином своей жизни и своей смерти, он не хочет знать Того, Кто создал жизнь и от Кого зависит смерть. Вольное принятие смерти есть вместе с тем принятие креста жизни. Смерть и есть последний крест жизни. Самоубийца в большинстве случаев думает, что его крест тяжелее, чем крест других. Но никто не может решить, чей крест тяжелее. Тут нет никакого объективного критерия для сравнения. У каждого человека свой особый крест, иной, чем у другого человека. Самоубийство есть не только ложное и греховное отношение к жизни, но также ложное и греховное отношение к смерти. Смерть есть великая тайна, такая же глубокая тайна, как и рождение. И вот самоубийство есть неуважение к тайне смерти, отсутствие религиозного благоговения, которое она должна к себе вызывать. В сущности, человек всю жизнь должен готовиться к смерти, и значительность и качественные достижения его жизни определяются тем, готов ли он к смерти. Готовиться к смерти совсем не значит умирать, ослаблять и уничтожать свою жизнь, наоборот, это значит повышать свою жизнь, внедрять ее в вечность. Но в действительности люди очень мало бывают готовы к смерти, они часто недостойны смерти. Христианское отношение к смерти очень сложное и, по видимости, двойственное. Жизнь есть величайшее благо, дарованное Творцом. Смерть же есть величайшее и последнее зло. Но смерть есть не только зло. Вольное принятие смерти, вольная жертва жизнью есть добро и благо. Христос смертью смерть поправил. Смерть имеет и искупляющее значение. Представить себе нашу грешную и ограниченную жизнь бесконечной есть кошмар. Через смерть мы идем к воскресению для новой жизни. Самоубийство прямо противоположно Кресту Христову, Голгофе, оно есть отказ от креста, измена Христу. Поэтому оно глубоко противоположно христианству. Образ самоубийцы противоположен образу Распятого за правду. И психология самоубийства совсем не есть психология искупительной жертвы. Искупительная жертва основана на свободе. Самоубийца же не знает свободы, он не победил мир, а побежден миром. Христос победил мир и уготовал путь ко всеобщей победе над смертью и воскресению. Вольная крестная жертва есть путь к вечной жизни. Самоубийство же есть путь к вечной смерти, оно отказывается от воскресения.

Гениальная диалектика самоубийства раскрыта Достоевским в «Бесах» в образе Кириллова. Кириллов одержим идеей человекобожества. Человек должен стать Богом. Но, чтобы стать Богом, человек должен победить страх смерти, должен сознательно и свободно убит

себя. Кириллов решает убить себя совсем не потому, что он субъективно переживает состояние безнадежности и отчаяния, его самоубийство должно быть метафизическим экспериментом, в котором человек убедится в своей силе, в том, что он один хозяин жизни и смерти. Он не знает иного хозяина, Бога, и потому он сам становится Богом. Бог существовал для человека только потому, что у него был страх. Идея самоубийства у Кириллова носит апокалипсический характер, через него побеждается время. Время остановится, и будет вечность. Кириллов – человек «идеи», он не руководствуется никакими низменными побуждениями, он не знает страха. И вот образ Кириллова, по—своему аскета, человека чистого, во всем противоположен образу Христа. Человекобог и должен во всем быть противоположен Богочеловеку. Последнее слово метафизического самоубийства Кириллова есть смерть. Последнее слово крестной жертвы Христа есть жизнь, воскресение. Кириллов делает бессильный метафизический жест, он бессилён своею смертью смерть поправить, он бессилён победить время и перейти в вечность. Самоубийство Кириллова уродливо, как и всякое самоубийство, в нём нет луча света. А он – самый благородный и возвышенный из самоубийц. Распятие же Христа, которое было величайшим злодеянием тех, которые Его распяли, излучает свет, несёт миру спасение и воскресение. Достоевский обнаруживает через метафизический эксперимент Кириллова, что самоубийство по природе своей атеистично, есть отрицание Бога, есть постановка себя на место Бога. Конечно, большинство людей, кончающих жизнь самоубийством, не имеет метафизических мыслей Кириллова, они находятся в состоянии аффекта и не размышляют. Но они, не сознавая этого, ставят себя на место Бога, ибо считают лишь себя единственным хозяином жизни и смерти, то есть на практике утверждают атеизм. Обожествление человека, человекобожество может предельно проявить себя лишь в насильственной смерти. Тут мы подходим к вопросу об отношении между насильственной смертью и убийством. Есть ли самоубийство убийство?

Если смерть может быть не только злом, но и путем к воскресению, то есть убийство есть чистое зло и самое страшное зло. Самоубийство есть убийство живого существа, Божьего творения. Те, которые не видят в этом убийства, основываются на том, что убийство есть уничтожение чужой, не принадлежащей мне жизни. Моя жизнь принадлежит мне, и потому я могу уничтожить ее, не совершая убийства. Так же как я не могу совершить кражи относительно принадлежащей мне вещи. Но это ложное и поверхностное рассуждение. Моя жизнь есть не только моя, на которую я имею абсолютное право собственности, но и чужая жизнь, она есть прежде всего жизнь, принадлежащая Богу, который единственный имеет на нее абсолютное право собственности, она также есть жизнь моих близких, других людей, моего народа, общества, наконец, всего мира, который нуждается во мне. Принцип абсолютного права частной собственности есть вообще ложный принцип. Римское понимание права собственности есть не христианское понимание. Классическая формула римского понимания права частной собственности гласит: *dominium est jus utendi, fruendi, abutendi sua quatenus juris ratio patitur*, то есть собственность есть право не только пользоваться вещью во благо, но и злоупотреблять ею, делать с ней что хочешь. Но права абсолютной собственности не существует на вещи, на неодушевленные предметы, принадлежащие человеку. От рабства и крепостного права должны быть освобождены не только люди, но и вещи. Пусть с точки зрения действующего права я имею право ломать и уничтожать принадлежащие мне вещи и меня не привлекут за это к ответственности, не посадят в тюрьму. Духовно, морально, религиозно я не имею никакого права делать что мне заблагорассудится с принадлежащими мне вещами, обращаться с ними дурно, уничтожать их и истреблять. Я не имею абсолютного права на вещи, я должен употреблять их на благо, но не злоупотреблять ими, должен обращаться с ними по—божески. Да и если я в слишком резкой форме начну уничтожать принадлежащие мне вещи, ломать мою мебель, бить посуду, стекла моего дома, рвать на части собственную одежду, то меня, вероятно, подвергнут медицинскому осмотру и посадят в лечебницу. Мое право собственности на вещи относитель-

ное, а не абсолютное, вещи также принадлежат Богу и моим ближним, и всему миру, неотрывную часть которого они составляют. Если даже с собственным карандашом, книгой, одеждой я не могу поступать как мне заблагорассудится, то тем более не могу этого делать с собственным телом, с собственной жизнью, более драгоценной, чем вещи. Утверждение абсолютного права частной собственности есть ложный и не христианский индивидуализм.

Человек должен любить себя как Божие творение, и слишком большая нелюбовь и небрежение к себе, обычно сопровождающиеся корчами самолюбия (самолюбие не есть любовь к себе в должном смысле слова, наоборот), есть греховное состояние, отрицание Божьего творения, Божьего образа и подобия, Божьей идеи. Сказано: «Люби ближнего, как самого себя». А это предполагает и любовь к себе, которая совсем не есть эгоизм. Без такой любви к себе невозможна была бы жертва, невозможна была бы любовь к ближнему. И вот в самоубийстве присутствует эгоизм и эгоцентризм, самопогруженность и самопоглощенность и отсутствует нормальная любовь к себе как к принадлежащему Богу существу. Когда человек делается себе ненавистен и противен, когда он хочет истребить себя, то этого он никому не прощает, ему делаются ненавистны и противны и другие люди и весь мир Божий. Психологический парадокс заключается в том, что ненависть и отвращение к себе есть вместе с тем эгоцентризм, поглощенность собой, бессилие выйти из себя, забыть себя и подумать о других. Люди, ненавидящие себя и желающие себя истребить, суть люди с ободранной кожей, которые вымещают на других то, что они самим себе не нравятся. Люди нередко хотят покончить с собой назло другим. Когда болезненное уродство в человеке вызывает в нем отвращение к самому себе и чувство своей слабости в жизни и униженного своего состояния, то человек часто вымещает это на других и злобствует относительно других. Духовно должно относиться к самому себе не только как к самому себе и своей собственности, но и как к существу, принадлежащему Богу, миру и другим людям. С этим связано чувство призвания. Существуют обязанности не только по отношению к Богу и другим людям, но и к самому себе. К себе нужно по—хорошему, а не по—дурному относиться, не истреблять себя, не обращаться дурно с собственной душой и телом. Самоубийство есть предельное выражение дурного обращения с собой, нарушение долга по отношению к самому себе. Самоубийство есть несомненное убийство существа, принадлежащего Богу, людям и миру. И притом это есть убийство не только тела, но и души, то есть в некотором смысле убийство еще большее, чем всякое другое. Когда человек истребляет свою душу развратом, пьянством, излишеством, небрежением, непросветленными страстями, злобой, мстительностью и т. д., то он совершает частичное самоубийство и убийство, он обращается недозволительно с тем, что не только ему принадлежит и что предназначено для высших целей. Точка зрения, которая считает, что человек – самодержавный властелин собственной души и тела, есть точка зрения атеистическая, безбожная. Человек не только не имеет права истреблять свою душу и тело, но он ответит и за небрежение в отношении к самому себе. Калеча и уничтожая себя, человек калечит и уничтожает мир, космическое целое, других людей, ибо все со всем связано и все от всего зависит. Убивая себя, человек наносит рану миру как целому, мешает осуществлению Царства Божьего.

Человек есть более высокое по своему положению и по своему назначению существо, чем он это сам о себе думает в своем эгоизме, самопоглощенности и звериности. Эгоцентризм всегда обречен думать о себе ниже, чем должен думать о себе человек. И самоубийца, поглощенный лишь собой, не знает значения, которое он имеет для человечества и для мира, не понимает, что отравляет он не только себя, но и Божий мир, что затрудняет он осуществление Божьего замысла о мире. Не сам себя создал человек, его создал Бог для вечной жизни и создал его так, что жизнь его связана с жизнью всего Божьего творения. Смерть же вошла в мир с первородным грехом. Святой Фома Аквинат говорит, что самоубийство есть грех относительно самого себя, относительно общества и относительно Бога. Самоубийца совершает великий грех относительно собственной души, лишая себя возможности покаяния, духовного

возрождения и приготовления к страшной тайне смерти. Мужество, которое иногда проявляет самоубийца, есть кажущееся и иллюзорное мужество. За ним скрыто малодушие и страх перед жизнью. Самоубийство есть абсолютная изоляция себя от бытия, от Божьего мира, от человечества. Но такая изоляция невозможна по устройству бытия. Все и всё связано со всеми и со всем. И все человечество и весь мир есть организм. Только христианское сознание раскрывает правду о самоубийстве и устанавливает правильное к нему отношение. Социологическая точка зрения, которая, основываясь на статистике, хочет установить социальную закономерность и необходимость самоубийства, в корне ложна, она видит лишь внешнюю сторону явления, лишь результат незримых внутренних процессов и не проникает в глубину жизни.

IV

В мире дохристианском, языческом было иное отношение к самоубийству. Самоубийство среди дикарей было более распространено, чем это принято думать. Римляне были или равнодушны к вопросу о самоубийстве, или одобряли его. Для Сенеки, представителя стоической философии, который считается вершиной римского нравственного сознания и близким к христианству, самоубийство было возможно. Римляне идеализировали и облагораживали самоубийство. В период империи самоубийство стало проявлением утонченности. Но это значило, что положительный смысл жизни был утерян или не найден. И эпикурейцы и стоики боролись со страданиями жизни и пытались выработать внутреннюю самозащиту, бесстрашие. Но стоицизм, очень по—своему высокая естественная мораль, боится страданий и прячется от них. Возможность самоубийства есть одно из утешений, если все другие утешения исчерпаны. Утонченные души, страдающие от грубости жизни, потерявшие веру в объективный смысл жизни, иногда склонны идеализировать самоубийство как явление благородное, как благородный уход из мира. Но это не религиозное и не христианское состояние души. Уже в XIX веке пессимизм Шопенгауэра призывает к мировому самоубийству, к угашению мировой воли к жизни, порождающей муку и страдание. Он зовет к небытию, к нирване. Но тут индивидуальный вопрос о самоубийстве притупляется и теряет остроту. Шопенгауэр, который был близок к буддизму, тоже боится страданий и хочет от них бежать. Только христианство утверждает бесстрашие перед страданиями и смысл страдания, значение Креста. Поэтому христианство есть самая мужественная религия. Идеология же самоубийства утверждает, что страдание страшнее убийства. Мы говорили уже, что самоубийство есть форма убийства. И с той же точки зрения можно оправдать убийство человека из сострадания, чтобы избавить его от невыносимых страданий, от безнадежной болезни, от позора и пр. Но христианская церковь твердо стоит на том, что убийство всегда страшнее страдания, что лучше страдать, чем убивать из сострадания. Утверждали даже, что Иуда был более виноват, убив себя, чем предав Христа. Японское *харакири* есть благородная, рыцарская форма самоубийства, но она невозможна для христианина. Христианство глубоко отличается и от стоицизма, и от буддизма, и от всех религиозных и философских учений в вопросе о смысле страданий. Только христианство и учит тому, что страдание выносимо и имеет смысл. Страдание было бы невыносимо, если бы оно было бессмысленно. Но смысл делает страдание выносимым. Самоубийство считает страдание невыносимым и бессмысленным. Но смысл страдания в том, что оно есть несение креста, к чему призвал нас Спаситель мира. Возьми крест свой и иди за мной. Именно сознание несения креста жизни и делает страдание выносимым. Бунт против страдания делает страдание двойным, человек страдает не только от ниспосылаемых ему испытаний, но и от своего бунта против страдания. Крест же и есть единственная защита против самоубийства и единственная сила, которая может быть ему противопоставлена. Всякий человек, склоняющийся к самоубийству, должен осенить себя крестным знаменем, принять крест внутрь себя. Именно тайна креста и есть осуждение самоубийства.

Человек в жизненном пути своем переживает душевные кризисы, иногда очень болезненно и мучительно. Душевный кризис может представляться человеку настоящей агонией. Такие бурные душевные кризисы знает молодость. Ими, например, сопровождается половое созревание человека, бурный прилив сил, не находящих исхода. Молодость знает свою меланхолию, меланхолию от избытка неизжитых сил, от неуверенности, что удастся их изжить. Молодость более склонна к меланхолии, чем это принято думать, но это не есть меланхолия от бессилия и изжитости, как меланхолия старости. Самоубийство в молодости часто бывает результатом бурных душевных кризисов, в которых силы человека не находят исхода. Необходимо очень внимательное и бережное отношение к душевным кризисам. Потеря детской веры, кризис мирозерцания может породить очень бурные душевные процессы и вызвать меланхолию. Также роковым может быть душевный кризис, вызванный неудачной любовью. Особенно тяжки и опасны по своим последствиям бывают душевные кризисы у натур эмоциональных, которыми аффект владеет безраздельно. Кризисы проходят легче у натур, у которых эмоциональный элемент сильно уравновешен элементом интеллектуальным и волевым. Весь вопрос в том, насколько легко вся душевная жизнь человека определяется одним каким—либо аффектом, насколько легко человек делается одержимым одним каким—либо состоянием, когда темные волны затопляют всю душу. Самоубийство делается более легким и момент душевных кризисов, и тут вся задача в том, чтобы миновать опасные точки сгущения тьмы. Есть также немалое количество случаев самоубийства, которые являются результатом если не полного, то частичного сумасшествия. Меланхолия есть форма психического расстройства. Современная психопатология учит, что человеческая душа больна и что в каждом человеке есть потенциальный сумасшедший, но сдерживаемый в границах. Человеку нужно бороться за свое душевное здоровье и равновесие. Нужно сказать, что в момент самоубийства человек в большинстве случаев находится в состоянии психического расстройства, психика его опрокинута и нарушено психическое равновесие, функция различения реальности поражается, иерархия ценностей извращена и какая—нибудь одна, совсем не главная ценность делается единственной и абсолютной, сознание замутнено и память о слишком многом и важном парализована и удерживает лишь *idé e fixe* самоубийцы.

Самоубийство есть прежде всего страшное сужение сознания, бессознательное заливают поле сознания. В бессознательном же человеке живет не только мощный инстинкт жизни, но и инстинкт смерти. Фрейд даже делает из этого целую метафизику. Ошибочно думать, что человек стремится только к жизни и самосохранению, он стремится также к смерти и самоистреблению. Душевный кризис, в котором какой—либо аффект целиком овладевает человеком, легко отдает человека во власть бессознательного инстинкта смерти и самоистребления. Еще древние говорили, что Гадес и Дионис – один и тот же бог. Оргийная, дионисическая стихия избыточной жизни легко переходит в упоение гибелью и смертью. Это гениально выражено Пушкиным в «Пире во время чумы»:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья.

Сила жизни и сила смерти в какой—то точке не только соприкасаются, но и отождествляются. Поэтому так сближаются между собой любовь и смерть. Любовь Тристана и Изольды, Ромео и Джульетты неразрывно связана со смертью. И такова именно любовь юности. Человек способен осознать притяжение смерти как величайшую сладость, как разрешение всех мучительных противоречий жизни, как реванш, взятый над жизнью и как возмездие жизни. Соотношения между сознанием и бессознательным очень сложны в человеке. Это достаточно выяснено современной психопатологией и психологией, Фрейдом, Адлером, Юнгом. Душев-

ные и нервные болезни порождены конфликтом между сознанием и бессознательным, являются результатом утеснения цензурой сознания каких—либо сфер бессознательного. В момент кризиса души установившееся соотношение между сознанием и бессознательным нарушается и опрокидывается, бессознательное вступает в свои права. Традиционное для данного человека сознание – социальное, нравственное и даже религиозное – оказывается бессильным перед напором бессознательного: непосредственные инстинкты жизни, сила страстей, любви, мести, воли к преобладанию, сила страдания заявляют о своих правах и опрокидывают запрет сознания. Душевный кризис, порожденный столкновением бессознательного с сознанием, мгновенно ведет к расстройству психических функций, он опрокидывает неустойчивое психическое равновесие, которое покупалось полным подавлением бессознательного. Инстинкт истребления и смерти, идущий от темного бессознательного в момент бурных душевных кризисов, не может быть побежден установившимися, традиционными формами сознания, которые оказываются слишком слабым, бессильным средством. Не сила сознания, которая часто калечила жизнь, а сила сверхсознания, благодатная духовная сила может спасти от темных инстинктов бессознательного. Спасительно в этих случаях не традиционное религиозное сознание со своими законами и запретами, а сама благодатная сила Божья. Бессознательный инстинкт смерти, который есть одно из проявлений оргийного инстинкта жизни, непобедим слишком трезвым, рассудочным, размеренным сознанием. Он победим лишь благодатной силой Креста и воскресения, к которому Крест ведет. Психологию самоубийства можно определить как угашение сознания, порождающего мучения, и возврат в лоно бессознательного, как восстание против рождения из материнского лона жизни, породившего сознание. Но, кроме бессознательного или подсознательного, есть еще и сверхсознание. Кроме притяжения вниз, есть еще притяжение вверх. Инстинкт смерти есть инстинкт бессознательной жизни. Достоевский в «Записках из подполья» говорит, что страдание – единственная причина сознания. Освобождение от сознания представляется освобождением от страдания. Так же ищут освобождения от несчастного, мучительного сознания в пьянстве и наркотиках. Но сознание есть путь к сверхсознанию, к высшей духовной жизни, к жизни в Боге через крест и страдание. Весь вопрос в том, чтобы человек нашел в себе силы вынести сознание с сопровождающим его страданием. Когда человек прибегает к морфину, кокаину, опиуму, он не выносит мучительности сознания и идет от сознания вниз, а не вверх. Это есть частичное самоубийство. В душевных кризисах этот вопрос особенно обостряется и низшая бездна бессознательного притягивает человека. Притягивающая сладость смерти как соблазн, подстерегающий человека в иные катастрофические минуты, есть сладость угашения мучительного сознания, есть восторг соединения с безликим подсознательным. Это есть отказ от личности, слишком дорого стоящей, и соединение с безликой стихией. Есть особый соблазн гибели, упоение гибелью как трагически прекрасной. Это – соблазн, глубоко противоположный религии Креста и Воскресения, отказ не только от личного бытия, но и от свободы, противление Божьей воле, чтобы человек через сознание восходил к высшей, сверхсознательной жизни, через Крест к Воскресению. Бессознательный инстинкт смерти должен быть претворен в вольное принятие Креста жизни, смысла страдания, то есть из инстинкта реакционного, обращенного назад, претворен в инстинкт творческий, обращенный вперед. Человек есть большое существо, в его бессознательном есть страшная тьма. Это открывает современная психология. Этому учит и христианство, когда говорит о первородном грехе. Воля к самоубийству, к самоистреблению свидетельствует о болезненном конфликте бессознательного и сознания. Исцеление же приходит из высшей сферы, стоящей и над бессознательным и над обыденным сознанием.

V

Самоубийство как явление индивидуальное побеждается христианской верой, надеждой и любовью. Инстинкт смерти и самоистребления вера, надежда и любовь претворяют в несение Креста жизни. Все убеждает нас в том, что личность может достойно существовать и охранять себя от жажды самоистребления, если она имеет сверхличное содержание, если она живет не только для себя и во имя себя. Нельзя жить только для поддержания жизни и для наслаждения жизнью. Это есть зоологическое, а не человеческое существование. Жизнь приносит неисчислимое количество страданий и разочаровывает в возможности осуществить личные цели жизни и использовать жизнь для личного удовлетворения. Отрицание сверхличного содержания жизни оказывается отрицанием личности. Личность существует только в том случае, если существует сверхличное, иначе она растворяется в том, что ниже ее. Нельзя искать только самого себя и стремиться только к себе, искать можно только того, что выше меня самого, и к нему стремиться. Жизнь делается совершенно плоской с того момента, как я самого себя поставил выше всего, на вершине бытия. Тогда действительно можно покончить с собой от тоски и уныния. Нужно, чтобы было куда восходить, чтобы были горы, тогда только жизнь приобретает смысл. Когда человек сознает в себе сверхличное содержание жизни, он сознает свою принадлежность к великому целому и самое маленькое в жизни связывает с великим. Какой бы маленькой ни казалась жизнь человека, он может сознавать свою принадлежность к Церкви, к России, к великим сверхличным организмам, к великим ценностям, осуществляемым в истории. В эпохи исторических процессов и переломов, когда целые социальные слои отрываются от исторических тел, в которых они родились и жили, самоубийство может сделаться социальным явлением. И вот тогда—то особенно важно сознание сверхличных содержаний и ценностей жизни. Это предполагает пробуждение духовной жизни и особенную ее напряженность.

В спокойные, устойчивые времена люди естественно живут в быту, связаны с организациями сверхличными, с родовыми семьями, сословиями, с традиционными национальными культурами. В такие времена религия бывает нередко исключительно бытовой, наследственной, традиционной и не предполагает горения духа, личных духовных усилий; патриотизм тоже бывает бытовым, традиционным, определяющимся внешним положением человека. Не такова для русских эпоха, в которую мы живем. Все исторические тела разлагаются, быт потерял всякую устойчивость, и все пришло в бурное движение. Жизнь требует огромных духовных усилий. Нужна духовная сила и напряженность, чтобы верить, что жива Россия и русский народ и что сам принадлежишь к нему, хотя бы ты был выброшен в Африку или Австралию. Нужно горение духа, чтобы верить, что Православная Церковь, гонимая и утесняемая, ослабленная в своей организации, переживающая смуты и распри, в действительности возрождается и просветляется, становится духовно выше Церкви, которая была торжествующей, государственной, внешне блестящей, в парче и золоте. Нужны личные духовные усилия, чтобы устоять в буре и не быть снесенным ветром. Бывают внешне благополучные эпохи, когда во времени есть устойчивость и всякий естественно занимает в нем прочное положение. Но бывают эпохи катастрофические, когда во времени нет устойчивости и прочности, когда не на что опереться, когда почва колеблется под ногами. И вот в такие эпохи, более значительные, чем эпохи спокойные, прочность и крепость человека определяются лишь его духовной вкорененностью в вечности. Человек сознает, что он принадлежит не только времени, но и вечности, не только миру, но и Богу. В такие эпохи раскрытие в себе духовной жизни есть вопрос жизни или смерти, вопрос спасения от гибели. Удержатся лишь те, которые раскроют в себе большую духовность. Сама вера в такие эпохи предполагает большие усилия личного духа и потому качественно выше веры бытовой и наследственной. Безумно в такие эпохи думать только о себе и о своих личных целях. Это есть путь самоистребления. Каждый несет страшную ответственность, он

утверждает или жизнь, возрождение, надежду, или смерть, разложение, отчаяние. Каждый русский сейчас в безмерно большей степени несет в себе Россию, чем нес тогда, когда он мирно жил в России. Тогда Россия давалась ему даром, теперь же она приобретает горением духа. Также каждым православный теперь в безмерно большей степени отвечает за Церковь и несет в себе судьбу Церкви, чем когда он мирно жил в Церкви, охраняемой государством и традиционным бытом. К каждому предъявляются сейчас безмерно большие духовные требования, чем раньше. Нельзя уже быть тепло—прохладным, бытовым христианином, полухристианином, полуязычником, нужно выбирать, проявлять жертвоспособность, быть духовно горячим. В мире происходит огромная борьба сил христианских и антихристианских, и никто не может уклониться от участия в ней. Мы живем в очень трудное, но гораздо более интересное время, чем эпохи предшествующие. Много старое изжито и безвозвратно прошло, старая жизнь не вернется никогда, и нельзя этого желать. Но пробуждается новый интерес к мировой и человеческой жизни, интерес с высоты и из глубины, из Бога и через Бога. Мы получаем возможность из вечности смотреть на время и вечность во времени утверждать. Теперь не время опускаться, разлагаться, предаваться отчаянию, теперь время подыматься, подтягиваться, время верить и надеяться, время вспоминать, что человек есть духовное существо, предназначенное для вечности.

Мы не должны сурово и беспощадно судить самоубийцу. Да и не нам принадлежит суд. Но нельзя идеализировать самоубийство. Не самоубийцы, а самоубийство должно быть осуждено как грех, как духовное падение и слабость. Самоубийство есть измена Кресту. В то мгновение, когда человек убивает себя, он забывает о Христе, и если бы он вспомнил, то рука бы его дрогнула и он не нанес бы себе смертельного удара. Он сохранил бы свою жизнь, потому что решил бы ею пожертвовать. Он хотел убить себя, потому что не хотел пожертвовать своей жизнью, потому что думал лишь о себе и утверждал лишь себя. Самоотречение и самопожертвование во имя сверхличной святости и есть явление прямо противоположное самоубийству. Жить кажется человеку труднее, чем умереть, и он выбирает более легкое. В жизни все минуты трудны и требуют усилий, самоубийство же предполагает лишь одну трудную минуту. Но иллюзия и самообман самоубийства основаны на том, что оно представляется окончательным освобождением от времени, несущего страдания и муки. Самоубийца верит, что страданий больше не будет. И это покупается тем, что самоубийство есть отказ от бессмертия. Но минута, в которую совершается самоубийство, есть последняя минута лишь нашего времени, за ней следует целая вечность и суд. И если бы человек, решивший убить себя, почувствовал себя стоящим перед вечностью, перед судом вечности, то решимость его поколебалась бы. Самоубийца надеется уничтожить не только время, но и вечность. И время и вечность связаны для него с сознанием, которое он хочет окончательно угасить. Но онтологически уничтожить себя невозможно, можно только перевести себя в другое состояние. Самоубийца не может дольше выносить муки пребывания в себе, в своей тьме, в своей замкнутости. Он надеется вырваться из себя через убийство себя. Но в действительности он еще глубже входит в себя, в дурную бесконечность мучения, которое продолжается после акта самоубийства. Человек лишь временно находится во времени, он есть существо, предназначенное для вечности, и в нем есть вечное, неистребимое начало, которое не может быть уничтожено убийством и самоубийством. Можно угасить наше сознание и вернуться в лоно бессознательного. Но это угасание сознания не вечное, а временное. Сознание вновь пробудится, и каким тяжким может оказаться это пробуждение. Ученик Фрейда Ранк написал очень интересную книгу о «травме рождения». Он доказывает, что человек рождается в страхе, он задыхается, отрываясь от материнского лоно, и последствия этой травмы остаются на всю жизнь, она является источником и мифотворчества человека и болезней его. Ранк думает, что у человека остается желание вернуться в материнское лоно. Жизнь в мире страшит человека, первичный страх рождения не проходит. Я говорил уже о бессознательном инстинкте смерти в человеке. Но ужас в том, что возврат самоубийцы в лоно

бессознательного может сопровождаться еще большим страхом, чем рождение. Расчет самоубийцы на избавление основан на грубых материалистических предпосылках, и мы сталкиваемся тут с основным вопросом о смысле жизни.

Инстинкт самоубийства есть регрессивный инстинкт, он отрицает положительное нарастание смысла в мировой жизни. Как мы должны относиться к сознанию, к личности, к свободе? Являются ли они ценностями, от которых ни в коем случае нельзя отказаться? Самоубийца подвергает сомнению ценность сознания, личности, свободы. Жизнь бессознательная, безличная, темно—утробная, определяющаяся притяжением смерти и небытия, лучше жизни сознательной, личной, свободной, ибо сознание порождает страдание, ибо личность выковывается в страдании, ибо свобода духовно трудна и трагична. Человек изнемогает и отрекается от великой задачи до конца быть личностью, быть свободным существом, возрастая в своем сознании к сверхсознанию. Он от страха страданий готов вернуться назад. Нужно помнить, что сознание наше есть некоторая середина бытия, а не вершина, оно есть лишь путь к вершине, к сверхсознанию, к обожению человеческой природы. И стихия бессознательного, которая всегда шире и глубже сознания, должна через работу сознания, понимающего свои границы, перейти в сферу сверхсознательного, Божественного бытия. Это не значит, конечно, что все бессознательное может и должно целиком перейти в сознательное. Всегда останется бессознательное лоно жизни. Но великая задача движения вверх не допускает отречения от бытия личности сознательной и свободной. Нужно до конца выдержать испытание, остаться свободной и сознательной личностью, не допускать уничтожения ее стихией досознательного, зовущего назад. В каждом человеке есть человек архаический, унаследованный от древнего, первобытного человечества, есть дитя и есть сумасшедший. Возникновение сознания как пути к сверхсознанию, к личности, как носителю сверхличных ценностей, духовной свободы, высшего достоинства человека и знака его богоподобия, есть неустанная борьба с агрессивным движением возврата человека к первобытно—архаическому, инфантильному состоянию, борьба против разложения сознания в безумии, которое совсем не означает возникновения сверхсознания, как иногда думают. Быть человеком, быть личностью, быть духовно свободным, не допускать разложения своего сознания от страха противоречий и страданий жизни есть героическая задача, есть осуществление в себе образа и подобия Божия. Самоубийство есть отступление от этой задачи, отказ быть человеком, возврат к дочеловеческому состоянию. Жизнь есть восхождение, самоубийство есть опускание, ниспадение. Великая иллюзия и обман самоубийства есть упование, что самоубийство есть освобождение, освобождение от муки жизни, от бессмыслицы жизни. В действительности самоубийство и есть прежде всего и больше всего потеря свободы, которая всегда зовет к восхождению, к победе над миром. И в людях, склонных к самоубийству, нужно прежде всего пробудить достоинство свободных существ, детей Божьих, призванных к высшей жизни. Самоубийца не только сам отказывается до конца быть человеком, но и отравляет окружающую атмосферу ядом небытия. Быть человеком и есть великая задача, поставленная перед нами Творцом. Быть человеком значит быть личностью, быть духовно свободным, возрастая в своем сознании, быть творцом. И величайшая тайна жизни заключается в том, что все в человеке должно быть преодолено высшим состоянием и предполагает высшее. Человек становится человеком, преодолевая себя, личность предполагает существование сверхличных ценностей, истины, добра, красоты и возрастания к сверхличному бытию, сознание предполагает существование сверхсознания, душа живет и движется духом и духовной жизнью. Человек существует потому, что есть Бог и что он может к Богу двигаться. Но преодоление всякой ограниченности, ограниченности сознания, ограниченности личности, ограниченности всего человеческого не может быть достигнуто движением вниз и назад, оно достигается лишь движением вверх и вперед. Вопрос о самоубийстве есть вопрос о религиозном смысле жизни. Самоубийство его отрицает. Беспомощны, наивны и безумны те социологи—позитивисты, которые думают, что общество и общественные цели могут заме-

нить Бога и божественные цели жизни и дать человеческой личности смысл жизни. Мысль об обществе и об общественном долге сама по себе никогда и никого не может остановить от самоубийства. Что может значить отвлеченная идея для человека, для которого померкло все в мире? Только память о Боге как о величайшей реальности, от которой некуда уйти, как об источнике жизни и источнике смысла может остановить от самоубийства. От общества можно уйти в смерть, в небытие, и общество бессильно над вечной судьбой человека. От Бога же и через смерть уйти нельзя и некуда, нельзя избежать Божьего суда и Божьего определения вечных судеб человека. Само отношение человеческой личности к обществу получает смысл через отношение ее к Богу. Только Бог дает смысл жизни. И борьба против самоубийства, против самоубийственных настроений есть борьба за религиозный смысл жизни, борьба за образ и подобие Божие в человеке.

Анатолий Кони

САМОУБИЙСТВО В ЗАКОНЕ И ЖИЗНИ

Черное крыло насильственной смерти от собственной руки все более и более развевается над человечеством, привлекая под свою мрачную тень не только людей, по—видимому, обтерпевшихся в жизни, но и нежную юность, и тех, кто дожил до близкой уже могилы. Случаи самоубийства перестали быть единичным, хотя и частым, окончанием расчетов с жизнью, а обратились в целое общественное явление, даже в бедствие, заслуживающее внимательного изучения и обдуманной борьбы с ним. Повсюду оно растет, обманывая всякие статистические предположения и предвзятые формулы. Достаточно указать на то, что согласно исследованиям Морзелли в Германии с 1890 года по 1900 год на миллион смертей приходилось 2 700 самоубийств, а с 1900 по 1910 уже 5 тысяч и что в Петербурге за 40 лет самоубийства и покушения на них дошли с 210 случаев в 1870 до 3196 в 1910 году, тогда как, в связи с возрастанием населения Петербурга с 600 тысяч человек до 1 800 тысяч, это увеличение должно бы составить лишь 630 случаев, а не превышать эту цифру более чем в пять раз.

Ошибочно объяснять это триумфальное шествие самоубийства увеличением душевных заболеваний, как это делают некоторые. Увеличения последних отрицать нельзя, но наблюдения показывают, что то и другое явление увеличиваются под влиянием самостоятельных причин, вне зависимости друг от друга, причем развитие душевных заболеваний всегда превосходит увеличение народонаселения, но в меньшей мере, чем самоубийства. Так, например, в Соединенных Штатах Северной Америки за 40 лет с 1870 года население увеличилось на 60 %, сумасшествия на 100 %, а самоубийства на 270 %. Нельзя отрицать довольно крупного числа случаев самоубийств у душевнобольных, но исследованиями Бриер—де—Баумана, докторов Жаке, Прево и Островского установлен приблизительный процент лишающих себя жизни в состоянии сумасшествия, составляющий около 17 % всего числа самоубийств.

Поэтому утверждение Крафт—Эбинга, что каждое самоубийство должно быть приписано сумасшествию, покуда не будет точно доказано противное, представляется лишенным прочного основания. Скорее, ввиду приведенного процентного отношения, можно сказать, что самоубийство должно считаться результатом сознательной и дееспособной воли, покуда не будет в каждом отдельном случае доказана наличность ясно выраженной душевной болезни. Некоторые из единомышленников Крафт—Эбинга относят к признакам душевной болезни как причины самоубийства такие угнетающие психические влияния, как стыд, чувство невыносимой обиды, тоска по умершим близким или тяжелая разлука с ними, глубокое негодование, отчаяние, ревность и даже страстная любовь. Но не придется ли с этой точки зрения считать душевнобольным почти всякого, проявляющего чуткую отзывчивость на житейские условия и обстоятельства и, вообще говоря, живущего, а не только существующего, мыслящего и страдающего, не только вегетирующего и прозябающего?

Стремление преувеличивать число душевнобольных самоубийц основывается нередко на ошибочном толковании ненормального душевного состояния лиц, умирающих после своего покушения на самоубийство. Но такое ненормальное состояние в большинстве случаев не может иметь ретроспективного значения. Потрясение организма, вызванное покушением, вид отчаяния окружающих, скорбь по уходящей жизни, получившей иногда неожиданную цену, наконец, предсмертные физические мучения – создают такое ненормальное состояние умирающего, которое не имеет прямого отношения к ясному разумению им своего поступка перед его совершением. Точно так же и предлагаемое некоторыми сопоставление протоколов страхования жизни с последующим самоубийством застрахованных вовсе не может служить доказательством душевной болезни лишившего себя жизни, так как могут быть такие гнетущие душу обстоятельства, при которых мысль об отказе близким в страховой премии со

стороны общества не только отходит на задний план, но и совершенно не приходит в голову. Так иногда случается при острых вопросах личной чести, при желании закрепить свое доброе имя добровольной кончиной, когда не хватает способности «*propter vitam vivendi perdere cousam*».³⁵ Кроме того, удрученное перед смертью настроение ошибочно считать душевной болезнью. То, что итальянцы определяют словом *ambiente*, обнимающим собою среду, обстановку, условия жизни частного человека и рядом с этим социальные и политические потрясения, – может вызвать такое именно удрученное настроение в том, кто не может и не умеет, подобно животному, и притом низшей породы, относиться ко всему окружающему безразлично и впасть в то, что Герцен называл «тупосердием».

В некоторых случаях последователи новейших уголовно—антропологических теорий о вырождении и атавизме отмечают *прирожденных* самоубийц, обыкновенно ссылаясь на очевидную ничтожность поводов к самоубийству. Нельзя, конечно, отрицать влияния наследственности в тех случаях, когда в ряде восходящих поколений были постоянные самоубийства. «Бог прощает, – говорит Гете, – природа никогда». Но важность повода не может служить основанием для суждения о прирожденности стремления к самоуничтожению.

Уголовные антропологи считают, что самоубийство и убийство вытекают из одного и того же психологического и физического источника, представляя известный параллелизм. Поэтому следовало бы искать у прирожденных самоубийц физических признаков вырождения, свойственных, по мнению Ломброзо, прирожденным убийцам (морелевских ушей, гутченсоновских зубов, седлообразного неба и т. д.), но рядом судебно—медицинских исследований установлено, что именно этих типичных признаков у самоубийц не замечается. Затем те и другие существенно различаются по условиям совершения своих деяний, по месту, времени года и т. д. Притом учение о прирожденных преступниках в последнее время в значительной степени поколеблено, и дикарям вовсе несвойственно самоубийство, наклонность к которому будто бы передается в силу атавизма как пережиток далекого прошлого. Кроме того, и изучение самоубийств показывает, что иногда случайное и само по себе не имеющее особо мрачного характера обстоятельство или событие представляет собой лишь *последнюю каплю* в переполненной житейскими страданиями чаше, заставляя перелиться ее содержание через край. И тогда, как говорит Байрон, «настанет грозный час, и упитанная страданиями душа, томившаяся долго и безмолвно, становится полна, как кубок смерти, яда полный». Тогда, по его же выражению, «уж сердце вынести не может всего, что вынесло оно». Каждый вдумчивый врач, судья, священник знает по своим наблюдениям, что житейские драмы подтачивают жизнь постепенно, возбуждая сменой тщетных надежд и реальных разочарований сначала *горечь* в душе, потом *уныние* и наконец скрытое *отчаяние*, под влиянием которого человек опускает руки и затем поднимает их на себя. Наконец, надо заметить, что многие душевно здоровые и одаренные до гениальности люди были близки к самоубийству или долго и упорно лелеяли мысль о нем, как, например, Байрон, Гете, Бетховен, Жорж Санд, Л. Н. Толстой и т. п.

Вглядываясь в прошлое, приходится признать, что до половины XIX века, за небольшим исключением, добровольное лишение себя жизни представляется рядом единичных поступков, не имеющих характера и свойства целого общественного недуга, зловеще надвигающегося на современное общество.

Светлый взгляд древних греков был весь устремлен на земную жизнь.

Недаром сами боги принимали в ней непосредственное участие и охотно вкушали от земных радостей. Загробное существование среди теней имело в глазах эллина мало привлекательности. Ахилл говорит в Елисейских полях: «Ах, лучше б овец на земле мне пасти, чем здесь быть царем над тенями». Поэтому добровольный уход из жизни у греков считался поступком постыдным, и когда в Милете развилось между девушками стремление к самоубийству, оно

³⁵ Ради существования утратить смысл жизни (*лат.*).

было прекращено выставлением их мертвых тел на общее позорище. Ввиду этого совершение самоубийства в некоторых случаях предписывалось как выполнение уголовной кары по приговору суда (Сократ). Такую же привязанность к жизни мы находим и у евреев, хотя книга Иова и Екклесиаст содержат в себе мысли о тяжести жизни, проникнутые глубоким пессимизмом. Отсутствие у Моисея прямых указаний на загробное существование души – ибо Енох и Илия были взяты *живыми* на небо – ограничивает существование лишь земною жизнью. Библейское сказание, отмечая долголетие как особую милость божью, дающую «насытиться днями», наполняет душу человека страхом смерти, которая является в своем роде не только «lex»,³⁶ но и «роена».³⁷ Быть может, поэтому и до сих пор у евреев сравнительно гораздо меньше самоубийств, причем знаменательно, что у них случаи сумасшествия значительно превышают случаи самоубийств. Римский мир до Цезарей почти не знает самоубийств, но затем, когда старый республиканский строй общежития быстро разлагается и заменяется жестокостями кесарей из «*domus Claudia diis hominibusque invisа*»³⁸ – Нерона, Калигулы и других – наступает стремление уйти от произвола и насилия и прекратить свое постылое существование.

Отсюда – известная формула «*mori licet cui vivere non placet*»³⁹ и связанная с этим тоска существования – *taedium vitae*.⁴⁰ На это влияли примеры таких самоубийц, как Катон, Брут, Кассий, сказание об Аррии Пет, подающей мужу меч, которым она себя пронзила со словами «*non dolet*»,⁴¹ а также учение стоиков и эпикурейцев. Исходя из совершенно противоположных взглядов на отношение к жизни, они, однако, сходились на том, что жизнь составляет не повинность, а право, от которого всякий волен отказаться. «Вход в жизнь один, – говорили эпикурейцы, – но выходов несколько», – и основали в Александрии общество прекращения жизни.

Под церковным влиянием христианства человек преисполнен страха смерти как перехода к грозной ответственности за земные грехи и увлечения. Жизнь, по учению церкви, уже рассматривается не как радость сама по себе, а как испытание, за которым для многих должно последовать вечное мучение.

Под каждым могильным крестом, снедаемый червями, лежит прах человека, который в «*dies ira, dies illа*»⁴² облечется плотью и предстанет на всезнающий и всевидящий суд. От житейского испытания уходить никто не должен сметь, неся покорно свой крест или осуществляя суровый аскетизм. Единственный самоубийца, о котором повествует Новый завет, – это Иуда. Поэтому церковь и общество сурово относятся к самоубийце и, предоставляя загробную кару за его *грех* общественному правосудию, оставляют за собой назначение самоубийце земной кары за его *преступление*.

Особое развитие этот взгляд получил в постановлении Тридентского собора (1568), который, следуя взгляду блаженного Августина, истолковал шестую заповедь как безусловно воспрещающую самоубийство, именно словами «не убий», не делающими ни для кого исключений (*legis hujus verbis non ita praescriptum, ne alium occidas, sed simpliciter ne occidas*)⁴³.

В силу отношения к самоубийце как к обыкновенному убийце труп лишившего себя жизни подвергался позорной церемонии – ослиному погребению (*sepulcrum asinum*), после чего сжигался как жилище сатаны.

³⁶ Закон (*лат.*)

³⁷ Наказание (*лат.*)

³⁸ Дома Клавдиев, ненавистного богам и людям (*лат.*).

³⁹ Пусть умирает тот, кому не хочется жить (*лат.*).

⁴⁰ Пресыщение жизнью (*лат.*).

⁴¹ Это не больно (*лат.*).

⁴² День гнева, тот день (*лат.*).

⁴³ Слова этого закона предписывают не «не убивай другого», а просто «не убивай» (*лат.*).

Особенной строгостью отличаются французские законы XVII столетия, предписывающие вешать самоубийцу за ноги, а имущество его отдавать королю, который обыкновенно дарил его кому—нибудь из родственников или какой—нибудь нравящейся ему танцовщице, или, наконец, как замечает Вольтер, нередко генеральному откупщику за разные денежные услуги. В мемуарах Данжо говорится: «Le roi a donné à madame la dauphine un homme, qui s'est tué lui-même; elle espère en tirer beaucoup d'argent».⁴⁴

Хотя против беспощадного отношения к сознательному самоубийце высказывались Монтень, Руссо (в «Новой Элоизе») и некоторые энциклопедисты, светское наказание за лишение себя жизни пало лишь с революцией.

Затем постепенно наказание самоубийц исчезает из европейских законодательств, оставаясь лишь некоторое время в *Англии*, а на практике почти не применяясь. В *России* наказуемость самоубийства, в противоположность Западной Европе, постепенно усиливается. Ни Уложения царя Алексея Михайловича, ни новоуказные статьи никаких наказаний для самоубийц не содержат, но уже Военный и Морской артикулы Петра Великого постановляют, что «ежели кто себя убьет, то мертвое его тело, привязав к лошади, волоча по улицам, за ноги повесить, дабы, смотря на то, другие такого беззакония над собою чинить не отваживались». Исходя из такого взгляда на самоубийство, проект Уголовного уложения 1754 года предлагал тех, которые «со злости или досады или другой причины убийство над собой учинить намерены были», наказывать плетью или содержать в тюрьме два месяца. Составители проекта Уголовного уложения 1766 года отнеслись к самоубийцам и покушавшимся на него несколько мягче, предлагая мертвое тело первых при церквях по чину церковного положения не погребать, а отвезть в убогий дом, а вторых, если они в классах состоят, понижать одним чином впредь до выслуги; дворян не служащих и первой гильдии купцов подвергать церковному покаянию на полгода.

Свод законов уголовных (статьи 378–380) ввел в действие карательную меру, состоящую в признании сознательного самоубийцы не имеющим права делать предсмертные распоряжения, почему как духовное его завещание, так и всякая изъявляемая им воля в отношении к детям, воспитанникам, имуществу или даже чему—либо иному считаются ничтожными и не приводятся в исполнение. Покушавшийся на самоубийство в состоянии вменяемости подлежал наказанию как за смертоубийство и должен был быть сослан в каторжные работы. Сверх того, в обоих случаях назначалось безусловное лишение христианского погребения. Составители проекта Уложения 1843 года заменили для покушавшегося каторжные работы тюрьмой от шести месяцев до одного года, предоставили духовному начальству самому в каждом случае решать, следует ли самоубийцу лишать христианского погребения, постановив о безусловном церковном покаянии покушавшегося как о «возможном случае для его вразумления, а может быть и для утешения святым учением религии». Составители проекта были несколько смущены тем, что ни в каких законодательствах, ни новейших, ни древних, нет примеров уничтожения сделанного самоубийцей завещания, но успокоили себя признанием такого постановления мудрым и полезным, ибо оным, то есть страхом лишить любезных ему людей предполагаемых способов существования, человек может быть удержан от самоубийства.

Этот взгляд разделило и Уложение о наказаниях 1845 года, но сделало лишение христианского погребения *безусловно* обязательным. В таком виде уголовно—гражданская кара за самоубийство перешла последовательно в Уложения 1857, 1866 и 1885 годов. Замечательно, что Устав врачебный (том XIII Свода законов) до 1857 года содержал в себе статью 923, в силу которой тело умышленного самоубийцы надлежит палачу в бесчестное место направить и там закопать. Уголовное уложение 1903 года, введенное в действие лишь в незначительной своей части, оказалось в своих существенных постановлениях лишь «бескрылым желанием»

⁴⁴ «Король подарил наследной принцессе человека, покончившего жизнь самоубийством; она надеется извлечь из этого большие деньги» (*франц.*).

для юристов, жаждавших коренного обновления карательных постановлений. Мысль его составителей о признании самоубийства и покушения на него ненаказуемыми «отцвела, не успевши расцвести», и суровые меры, подтвержденные Уложением 1885 года, продолжали подлежать осуществлению до последней революции.

Излишне говорить, как были жестоки, нецелесообразны и «били по оглобле, а не по коню» эти меры. Несомненно, что в огромном большинстве случаев человека, решившегося на самоубийство, не могла смущать мысль о лишении христианского погребения, так как «бесчувственному телу равно повсюду истлеть», а от «милого предела» он уходит самовольно, но для родных и близких, для друзей и почитателей, для «сотрудников жизни» эти, в сущности, антихристианские меры должны были составлять тяжелое и ничем не заслуженное испытание, связанное для дорогих самоубийце людей с материальными лишениями, нередко с нищетой или с унижительными великодушными подачками совершенно чуждого им *законного* наследника. Кроме того, так как эти меры не применялись к лишившим себя жизни в безумии, сумасшествии или в беспамятстве от болезненных припадков, то можно себе представить, какое поле открывалось здесь для горестных хлопот о соответствующем медицинском свидетельстве, для предъявления его судебным или полицейским властям в ложное доказательство того, что умерший был душевнобольным.

Поэтому нельзя не приветствовать статью 148 советского Уголовного кодекса, совершенно исключавшего наказуемость самоубийства и покушения на него и карающего лишь за содействие или подговор к этому несовершеннолетнего или лица, заведомо неспособного понимать свойство или значение совершаемого или руководить своими поступками.

Обращаясь к самоубийству как к зловещему явлению современного общежития, приходится остановиться на подготовительной к нему почве и на некоторых условиях, способствующих его развитию.

Таково *ослабление семьи и разрушение ее внутренней гармонии* под влиянием построения ее на прозаических и корыстных расчетах без внимания к духовному сродству супругов или на близоруком животном стремлении. Отсюда из общего числа самоубийств – 10 % вызываемых развалом семьи и домашними неприятностями. Надо, впрочем, отметить, что семья и связанные с нею обязанности все—таки более удерживают от самоубийства, чем одиночество, и их больше между вдовами, вдовцами, разведенными и холостяками. Замечательно также, что при сумасшествии это соотношение почти одинаково. Так, по исследованию Энрико Морзелли, в Пруссии на 5 тысяч самоубийств приходится: девушек 2 %, замужних 1 %, вдов 2,5 %, разведенных 7 %; мужчин холостых 5 %, женатых 5 %, вдовцов 19 % и разведенных 58 %. В Вюртемберге на 4600 сумасшедших приходится около 5 % женщин, 3 % замужних, 12 % вдов, 34 % разведенных; мужчин холостых тоже около 5 %, женатых 3 %, вдовцов 7 % и разведенных 40 %.

Очевидно, что библейское изречение «*vae soli!*»⁴⁵ в данных случаях применяется в полной мере. Утрата «сотрудника жизни» или «по—трудилыцы и сослужебницы», как называли в старину добрую жену, действует угнетающим образом на оставшегося, разрушая сложившийся уклад жизни и обрекая, в огромном большинстве случаев, на непоправимое одиночество с отсутствием целительного уединения. При разводе к этому присоединяется горечь пережитых разочарований и часто драматических испытаний, а также нередко вызванное разводом у мужчин стремление найти забвение в вине или грубой чувственности, вызывающей, в конце концов, чувство омерзения к опостылевшей жизни.

Очень влияют и причины *общественно—политического* свойства, состоящие в потере надежд после подъема общественного настроения. Война и революция всегда влияют на уменьшение самоубийств. Так, например, в Петербурге с 1857 по 1864 год самоубийства и покушения на них шли, уменьшаясь с 47 до 41 в год, несмотря на то, что в этот период времени

⁴⁵ Горе одинокому (*лат.*).

население увеличилось с 495 тысяч почти до 600 тысяч. Это было время «великих реформ» Александра II. В обществе и литературе было большое оживление и горячая вера в лучшее будущее в смысле нравственного и политического развития страны. Но после 1866 года наступает продолжительный период реакции и властного сомнения в целесообразности и благотворности реформ, и самоубийства начинают быстро расти. Влияние политических движений и войн сказывается, между прочим, в следующих цифрах, относящихся к японской войне и первой революции: в 1903 году в Петербурге совершено самоубийств и покушений на них 503, в 1904 – 427, в 1905 – 354. Затем наступает Портсмутский мир и так называемое успокоение, а в 1907 году, согласно докладу доктора Н. Н. Григорьева в психо—неврологическом институте, уже 1370 самоубийств и покушений, в 1909 году их 2250, а в 1910–3196. За период с 1914 года до настоящего времени, судя по газетам, число самоубийств за первый период европейской войны значительно уменьшилось. Относительно оконченных самоубийств в Москве замечается их рост с 1907 года по 1913 (158–360), а с 1914 – падение их числа до 1920 года (295–64).

Среди дальнейших условий огромную роль играет обостренная *борьба за существование*, вызывающая крайнюю нужду и безработицу, нередкую безвыходность положения и сознание бесплодности и беспросветности борьбы с подавляющими сторонами жизни.

Эти условия вызывают около 30 % всех самоубийств. Нужно ли говорить затем о развитии *городской* жизни в ущерб *сельской*, о нравственной бесприютности затерявшегося среди каменных громад города нового пришельца, об удалении от животворного умиротворяющего непосредственного влияния природы, о скученности населения в городах, ютящегося в огромном числе в самой нездоровой обстановке, без света и чистого воздуха. Недаром число городских самоубийств в *три раза* выше совершаемых в деревне. Не могу не припомнить, что долгие годы на месте нынешней Пушкинской улицы были пустырь и огороды, отделенные стеной от Невского. Но в семидесятых годах здесь была проложена узкая улица, застроенная пятиэтажными домами с рядом дворов при каждом. Она называлась Новой, и в нее устремилось жить множество обывателей Петербурга, ввиду сравнительной дешевизны помещений, в которые зачастую совсем не проникал луч солнца.

Через несколько лет судебный следователь, в участке которого находилась Новая улица, обратился в суд с просьбой о командировании ему помощников, так как ему почти непрерывно приходилось присутствовать при вскрытиях. Оказалось, что Новая улица, переименованная впоследствии в Пушкинскую, давала наибольшее число самоубийств в Петербурге. С городом связано большое число фабрик и заводов, закон разделения труда обращает в ряде производств трудящегося в орудие для исполнения отдельных, не связанных между собой работ, ограничивающих его деятельность узким кругом, лишь впоследствии расширяющимся в единое целое, в котором он принимает участие как небольшой винтик в сложной машине. Его труд чужд его творческому замыслу и индивидуальным свойствам и не может давать ему того удовлетворения, которое испытывает, например, сельский кустарь, являющийся в своем деле творцом от начала до конца. Отсюда специализация фабричного рабочего, связывающая его в свободном выборе занятий и стесняющая независимость его труда, при неблагоприятных для него условиях или отношениях. Поэтому завтрашний день для него представляется тусклым и тревожным, а день настоящий не дает душевного удовлетворения. Тут нет места для личной изобретательности и художественной фантазии. Между тем фабрика, как могучий насос, выкачивает из деревни свежие и молодые силы. С городом связаны: преждевременное половое развитие отроков и искусственно вызываемый им разврат юношей, под влиянием дурных примеров товарищей, своеобразного молодечества и широко развитой проституции, а также вредные развлечения, по большей части недоступные сельской жизни.

В последнем отношении весьма печальную роль в Европе и у нас играет кинематограф, представляющий вместо научно—поучительных и просветительных картин методологию преступлений и сцены самоубийств, действующие заразительно на молодое поколение. Наряду

с кинематографом не менее вредное влияние имеет подчас и печатное слово, относительно которого далеко не все пишущие держатся завета Гоголя о том, что «со словом надо обращаться честно», в смысле вдумчивости в то влияние, которое оно может оказать на читателя, особенно при его душевной неуравновешенности. Нельзя, конечно, разделять упреков, которые в свое время делали Гете за его «Вертера», забывая глубокий нравственный характер этого произведения, связанного притом с личными переживаниями великого писателя. Но иначе приходится смотреть на произведения некоторых наших пользующихся известностью писателей, хотя бы за последние 10 лет. Владая в совершенстве формой, некоторые из них, впадая в крайности натурализма, переступают границу между здоровым реализмом и порнографией. При этом большое место отводится своеобразному культу самоубийства. Достаточно, кроме весьма известных произведений, указать хотя бы на сборник «Земля», изданный в Москве в 1911 году, в котором помещены три произведения, и во всех трех герои стреляются, вешаются, отравляются. Надо заметить, что если даровитые писатели в житейское содержание некоторых из своих творений вводят самоубийство как *ultima ratio*,⁴⁶ то менее даровитые – «им же несть числа», – по—видимому, не чувствуют себя в силах справиться с намеченной темой и спешат призвать на помощь, как *deus ex machina*,⁴⁷ самоубийство. В старые годы такому неудачнику, не знавшему, как лучше окончить свой нередко уже ему самому надоевший труд и что делать с героем, спрошенные о совете говорили: «Да жените его!» Теперь же, вероятно, советуют: «Да пусть он лишит себя жизни». Некоторые предсмертные записки молодых самоубийц звучат, как явное эхо модных произведений печати, и хочется присоединиться к негодующим словам Горького: «*Осторожнее с молодежью, не отравляйте юность . . . Эпидемия самоубийств среди молодежи находится в тесной связи с теми настроениями, которые преобладают в литературе, и часть вины за истребление молодой жизни современная литература должна взять на себя. Несомненно, что некоторые явления в литературе должны были повысить число самоубийств*».

От беллетристов не желают отстать и многие драматурги. На один из конкурсов по присуждению Грибоедовской премии в недавнее время было представлено до ста драм и комедий, и семнадцать из них кончались самоубийством одного или двух действующих лиц.

Наконец, к условиям развития самоубийств относится распространение в обществе *пессимизма*, нередко теоретически одностороннего и часто, без всяких разумных оснований, преждевременного. Поэтому нельзя не коснуться того характера, который, преимущественно в интеллигентных кругах, приобретает *воспитание* в недрах семьи. Во многих случаях забота о детях сводится к тому, чтобы всемерно избегать причинить им что—либо неприятное. Отсюда – в самом раннем возрасте детей – стремление поблажать всем их капризам и желаниям, как бы нелепы, а иногда даже и вредны они ни были, лишь бы не огорчать дитя.

Отсюда – замена во многих случаях разумного и твердого приказа смешным обычаем убеждать ребенка и доказывать ему неосновательность его желания в том возрасте, когда ему непонятны не только существующие житейские отношения, но очень часто даже и самое значение окружающих его предметов. Отсюда – обычай избегать капризов и домогательств ребенка своеобразным подкупом, заменяя осуществление его настойчивого желания подарками, посулами или сладостями. Так возрастают маленькие семейные деспоты, приучаемые не знать никаких препон своим желаниям и невольно привыкающие с годами считать себя центром жизни семьи. Так развивается в них сознательное и упорное себялюбие и вовсе не развивается характер, одним из главных проявлений которого надо признать умение обуздывать свои желания и отречься от своих мимолетных вожделений. Когда такое *сокровище* своих родителей вступает в отрочество, оно считает всякое материальное и нравственное ограничение, робко предъявляемое последними, за вопиющее нарушение своих прав, и начинается то

⁴⁶ Последний довод (*лат.*).

⁴⁷ Чудесный избавитель (*лат.*).

возмущение против родителей и презрительное к ним отношение, на которое они горько жалуется, забывая, что сами создали его годами бессмысленной потачки и баловства.

Но вот затем наступает суровая жизнь со своими беспощадными требованиями и условиями, и старая родительская забота, сменяющаяся обыкновенно страдальческим недоумением, уступает место личной борьбе за существование в ее различных видах. Тут—то и сказывается отсутствие характера – борьба для многих оказывается непосильной, и на горизонте их существования вырастает призрак самоубийства с его мрачною для слабых душ привлекательностью.

Есть, конечно, и при таком воспитании многие исключения, в которых здоровые прирожденные задатки берут верх над систематическою порчею со стороны родителей, но тем более жаль тех жертв этой порчи, действиями которых так богата хроника ненормальных явлений нашей общественной и частной жизни. Разумное воспитание, конечно, дело трудное: сказать любимому ребенку «не смей», «нельзя» не особенно весело, гораздо лучше постоянно видеть его веселое личико, предаваться животной радости в созерцании этой дорого стоящей и хрупкой живой игрушки. Но в таком чувстве нет настоящей деятельной любви к ребенку. Это – лень ума и воли, порождаемая отсутствием сознания ответственности перед существом, которому мы осмелились дать жизнь; это в сущности грубейший эгоизм, подготовляющий новый эгоизм или в лучшем даже случае подготовляющий эгоизм, благодаря которому в обиход нашей общественной жизни вторгается так много болезненных самолюбий и бесплодных самомнений.

В противоположность такому легкомысленному отношению к детям является бездушное и жестокое с ними обращение, осуществляемое преимущественно мачехами и реже отчимами при постыдном попустительстве одного из родителей ребенка, а также одним из родителей или обоими вместе и, наконец, людьми, имеющими над детьми юридическую или фактическую власть. Все это нередко приводит несчастного ребенка или отрока к мысли о своей незащитности и о спасении себя от мучений смертью от собственной руки или к раннему зародышу и дальнейшему пышному расцвету в душе его пессимистического взгляда на жизнь как на бесконечное поле призрачных и редких радостей и непрерывных лишений и страданий. Рассмотрение дел о самоубийствах этого рода приводит к самым печальным выводам как относительно жестокой изобретательности в способах причиняемых им физических мучений и нравственных терзаний, так и относительно виновников их подсазанного отчаянием решения. Между последними видное место занимают не простые люди, сами иногда удрученные условиями своего существования, а «цивилизованные» горожане, нередко иностранцы или представители разных профессий. Тут конкурируют между собою в истязании молодежи содержательница модного магазина и жена адмирала, банкир и фотограф, железнодорожник и полковой врач и т. д. Невольно приходят в голову по этому поводу слова Некрасова: «Равнодушно слушая проклятья в битве с жизнью гибнущих людей, из—за них вы слышите ли, братья, тихий плач и жалобы детей?»

Прогресс отдельных отраслей знаний и техники, конечно, не подлежит сомнению и идет быстрыми шагами вперед, открывая необъятные и неведомые дотоле горизонты, но в духовном отношении человечество не только не успевает следить за ними, но иногда пользуется некоторыми открытиями для жестоких и зверских целей. Достаточно припомнить последние войны с удушающими газами разных систем, боевыми аэропланами, разрывными и отравленными пулями и т. п. Техника развивается – этика не только стоит на месте, но часто «спадает ветхой чешуей» и уступает место зоологическим инстинктам; сознаваемая и гнетущая человека *имморальность* его поступков уступает место самодовлеющей *аморальности*. Под влиянием всех указанных условий современного общежития развивается упомянутый выше обостренный эгоизм, заставляющий человека оценивать все явления окружающей жизни исключительно по их отношению лично к себе, и создается внутренняя пустота жизни, отрешенной от общих интересов и от солидарности между людьми с их отчужденностью друг от друга.

Современный цивилизованный человек старается как можно чаще оставаться наедине с самим собою и, несмотря на то, что болезненно ищет развлечений в обществе других людей, постепенно становится по отношению к людям мизантропом, а по отношению к жизни – пессимистом. Если такие взгляды и настроения пускают глубокие корни в опустошенную ими душу, то по большей части при неблагоприятно сложившихся обстоятельствах появляется мысль о самоубийстве. Здесь возможен двоякий выход. Или на смену сомнения и отчаяния наступает понимание смысла и назначения жизни и происходит то, что так характерно выразилось в стихотворном обмене мыслей между Пушкиным и Филаретом («Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» и т. д.), причем возникает сознание, что жизнь есть долг, что рядом со страданием в ней существует наслаждение природой и высшими духовными дарами и что можно сказать с Пушкиным: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Человек же, религиозно настроенный, утверждает в идее об ответственности перед *свидетелем* мыслей, чувств и поступков, – толстовским *хозяином*, и перед своей совестью за малодушный уход из жизни, которая, быть может, была бы полезна близким. Для такого человека несомненна другая жизнь, и в ней будущая разгадка его существования, а жизнь земная лишь станция на пути, который надо продолжать до конца, покуда, по образному выражению Толстого, «станционный смотритель – смерть – не придет и не скажет, под звуки бубенчиков поданной тройки: «Пора ехать». Или человек приходит к убеждению, что он – продукт бессознательной и равнодушной природы, исполняющий ее слепую волю к продолжению рода, после осуществления которой ему может быть сказано шиллеровское: «Мавр сделал свое дело – мавр может уйти». Здесь смерть уже не на пороге станции житейского пути, а полное его завершение. Современный человек более и более впадает в соображения второго рода или, в отдельных случаях, колеблясь, останавливается на Гамлетовском страхе перед могущими посетить вечный сон сновидениями. «Умереть – уснуть», – думает герой бессмертного создания Шекспира, и не будь у него страха снов, он хотел бы мечтать об одном ударе «сапожного шила (*bodkin*), чтобы избавиться от бессилия прав, обиды гордого, презренных душ, презрения к заслугам». Самого Шекспира, как видно из его 66 сонета, удерживал от «блаженного покоя», по—видимому, не один страх, но и привязанность к «владычице» – любимой женщине. На таком распутье между смертью и любовью, о которой Тютчев спрашивает: «И кто в избытке ощущений, когда кипит и стынет кровь, не ведал наших искушений, самоубийство и любовь?» – стоит зачастую человек, как видно из многих предсмертных записок самоубийц. Так, например, в Москве два рабочих, полюбивших одну и ту же девушку, колеблющуюся отвечать чувству кого—либо из них, пишут, что решили покончить с собою одновременно. Барон Р., потерявший жену, лишает себя жизни, сказав в своей предсмертной записке: «Смерть не должна разлучать меня с женою, а сделать нашу любовь вечной». Две дочери учительницы музыки, тотчас после смерти нежно любимой матери, покушаются на самоубийство, приняв сильный яд. Студент университета в оставленном письме молит бога, знающего, как сильно он любил умершую девушку, на которой хотел жениться, простить его и дать ему с ней свидание в загробной жизни. Вдова 23 лет, на чувства которой не отвечает любимый ею человек, пишет, что бесплодно надеяться она устала и принимает яд, а если он не подействует, то удавит себя свернутым в жгут платком, что и исполняет в действительности. Инженер 50 лет, которого «заела тоска по умершей жене», отравляется. Сын отравившейся директрисы женского пансиона объясняет свое решение застрелиться потерей в матери «лучшего друга и утешительницы». Гвардейский капитан делает то же «от невыносимой грусти по безнадежно больной сестре». Шестидесятилетний болгарин «не считает возможным продолжать жить, когда все дорогие сердцу ушли в могилу», и т. д.

Вообще предсмертные записки самоубийц, с содержанием которых я познакомился в моей прошлой судебной службе, не только указывают на мотив, но часто рисуют и самую личность писавшего.

Иногда самоубийства совершаются в по—видимому спокойном состоянии, причем, например при отравлении, некоторые наблюдают и описывают последовательное действие яда или, ввиду твердо принятого решения, разные свои физические ощущения. Известный поэт—лирик Фет перед покушением на самоубийство диктует своей секретарше: «Не понимаю сознательного преумножения неизбежных страданий и добровольно иду к неотвратимому». Классная дама пишет: «Дорогая тетя! Я сейчас в лесу. Мне весело, рву цветы и с нетерпением ожидаю поезда (под который она бросилась). Было бы безумно просить бога о помощи в том, что я задумала, но я все—таки надеюсь привести в исполнение свое желание». Бывший мировой судья, изверившись в жизни, в день и час, заранее назначенный, чтобы застрелиться, исследует свое нервное состояние, отмечает зевоту и легкий озноб, но не хочет согреться коньяком, так как спирт увеличивает кровотечение, «а и без того придется много напачкать», и за 5 минут до выстрела выражает сомнение, сумеет ли он найти сердце. Директор гимнастического заведения доктор Дьяковский, предвидя свое разорение, пишет прощальное письмо, затем читает слушателям последнюю лекцию и, по окончании ее, застреливается. Провинциальная артистка Бернгейм, 22 лет, отравляется кокаином и в письме к брату подробно описывает постепенное ощущение, «когда душа отлетает под влиянием яда», и оканчивает письмо недописанной фразой: «А вот и кон...» Застрелившийся отставной надворный советник Погуляев, 45 лет, пишет 5 июня письмо, в котором, унося «секрет своей смерти», заявляет, что желает воспользоваться в полной мере взглядом церкви на самоубийц, чтобы отделаться от отпеваний, панихид и иных комедий и дорого стоящих парадов. В письме от 12 июня он просит власти сделать распоряжение о том, чтобы никаких известий об этом, «право, ничтожном событии» в газетах не помещалось. К этому письму прилагается записка на имя прислуги: «Евгения, не кричите и шуму в доме не поднимайте, а когда увидите меня мертвым, то не плачьте и докторов не зовите, а поезжайте сказать обо всем сестре моей. Возьмите пакеты на имя ваше и Прасковьи. Обеих вас сердечно благодарю за службу, усердие и заботу обо мне. Меня жалеть не надо. Жить было не по силам тяжело. Умираю. Так лучше». Свое намерение он приводит в исполнение лишь 16 октября и перед смертью подтверждает все ранее написанное.

В случаях самоотравлений с целью самоубийства иногда задолго запасаются ядом, меняя менее сильный на более сильный, или подготавливают обстановку, в которой яд должен быть принят. Так, присяжный поверенный Ахочинский, решившись на самоубийство ввиду своих крайне запутанных дел, приобретает цианистый калий во время деловых поездок за границу и в Москву, предпочитая его кокаину и морфию, говорит об этом своей знакомой, прощается с нею и через день лишает себя жизни за ужином среди родных и близких, «когда это легче сделать».

В большинстве предсмертных писем звучит глубокое разочарование в жизни и смертельное уныние. Начальница частной гимназии пишет: «Вот струны жизни порваны, нет веры в себя и в дело». Учительница оставляет записку: «Я устала жить и не гожусь». Учитель: «Не вините никого: тернистый путь жизни стеснял мне дорогу, я старался освободиться, но напрасно. Теперь не хочу больше идти и не могу». Особенным отчаянием звучат два находящиеся у меня предсмертных письма. Либавская гражданка, дочь которой, гимназистка 16 лет, была обвиняема жилищей, вернувшейся из маскарада, в краже у нее бриллиантовой серьги, билась, как рыба об лед, чтобы воспитать своих внебрачных детей, брошенных отцом. Больная и истощенная, она не могла перенести павшего на дочь обвинения и отравилась, причем через два дня потерпевшая будто бы от кражи и переехавшая на другую квартиру *нашла* у себя серьгу, которую считала украденной. Так же кончила жизнь и другая женщина, многолетний сожитель которой, не желая заплатить по данному ей векселю, обратился за помощью в знаменитое *Третье отделение*, где она была задержана без объяснения причин в течение трех дней, мучимая недоумением и страхом, доведшими ее до совершенного отчаяния. Большинство писем проникнуто чувством предсмертного примирения даже с теми, кто причинил

зло. Нередки письма о прощении. «Хана, береги себя и сына и прости меня за твою исковерканную жизнь: прости, моя святая Хана! Если с тобой не ужился, то с кем же в миру могу жить», – пишет застрелившийся поручик. «Дорогая моя Ляличка, – пишет землемер своей жене. – Когда ты будешь читать это письмо, меня не будет в живых. Ради всего святого, прости меня за все огорчения и обиды, которые я тебе причинил. Я виноват перед тобою бесконечно. Знаю, что ты меня все—таки любишь, но прошу – постарайся забыть меня, негодяя. Жажду умереть на твоих руках, но не зову, чтобы ты меня не отговорила...» Но иногда в них встречаются вопли негодования и проклятия. Таково, например, письмо взрослой воспитанницы детского приюта к учителю такового:

«Неужели у тебя повернулся язык сказать, что я была женщиной, когда сошлась с тобою. Знай, окаянный, что ребенок уже шевелится, и, умирая, и я и он проклинаем тебя. Ты одним словом мог возвратить жизнь и мне, и ему. Ты не захотел. Пускай же все несчастья будут на твоей голове. Терпи во всех делах одни неудачи, будь бродягой, пропойцей, и пусть мое проклятье тяготеет над тобою везде и всюду. Я буду преследовать тебя днем и ночью... Жить мне безумно хочется... Многие письма очень лаконичны: «Надоело жить». – «Жить не стоит». – «Пора со всем покончить»... – «Счастливо оставаться». – «Пора сыграть в ящик (гроб)». – «Вот вам и журфикс». – «Куку». – «Хочется съездить на тот свет». – «Фить, – пишет застрелившийся околоточный, – кончился базар. Надоело... Сам подл, а люди еще подлее». Многие письма заключают в себе посмертные распоряжения об уплате своих долгов, о платье, в котором желательно быть похороненным, и просьбу устранить вскрытие трупа пишущего. Есть, впрочем, и выражения желания, чтобы таковое вскрытие было произведено для пользы науки. Обзор множества таких писем приводит к заключению, что они писались людьми сознательно и в «здравом уме», но что большинству писавших были неизвестны жестокие требования старого закона о недействительности посмертных распоряжений самоубийцы. Письма покидаемым родителям обыкновенно содержат просьбу о прощении, но изредка бывают черствы и даже циничны: «Милые мои родители, – пишет купеческий сын, – извещаю вас, что я с белого света уволился, а вы будьте здоровы». В последние годы эта черствость стала особенно проявляться в том, что решившиеся на самоубийство молодые люди не считают нужным хоть как—нибудь мотивировать свой поступок, что ввергает оставшихся в бездну неразрешенных сомнений и мучительных догадок и упреков себе. Так, например, два взрослых сына известного инженера лишают себя жизни последовательно один за другим, одним и тем же способом, на расстоянии одного года, не оставив ни одной строчки страстно их любящим матери и больному полуслепому отцу. То же делают сын выдающегося писателя, сын и дочь крупного администратора, жизнерадостная 18-летняя дочь артистки, сыновья двух замечательных по своему развитию женщин и т. д.

В числе причин, толкающих на самоубийство, некоторые ставят *пьянство*, но с этим едва ли можно согласиться. Привычные пьяницы обыкновенно умирают от органических страданий желудка, печени и мозга, но, даже и опустившись на самое дно, цепляются за жизнь, несмотря на ее постыдный характер. Несомненно, однако, что число самоубийств в состоянии опьянения представляют около 8 % их общего числа, но это не результат порочной привычки, обращающейся в болезненную страсть, а чаще всего опьянение перед «вольною своей кончиной» является средством подкрепить ослабевшую перед этим волю и создать себе искусственное полузабытье. Излишне говорить о самоубийствах учащихся как результате неправильных педагогических приемов, переутомления, неудачи на экзаменах или страха перед ними и т. п. Этому вопросу в последние годы была посвящена обширная литература.

Мучительным толчком к собственноручной казни являются иногда *угрызения совести*. Например, у стрелочника, терзаемого мыслью о том, что он с корыстной целью, ради получения денег за оказываемую помощь, безнаказанно устроил два железнодорожных крушения с человеческими жертвами, или у отставного штабс—капитана, не могшего помириться с невоз-

возможностью отыскать владелицу похищенного им из купе второго класса чемодана с 2 тысячами рублей, или у молодой девушки, невыносимо тоскующей от сознания зла, причиненного ею людям, которые ее воспитали, или, наконец, у дворника, которому «никак не полагается жить» после растления им четырех беззащитных девочек. К этому угрызению близко подходит мучительное чувство от сознания допущенной научной ошибки, повлекшей за собою чью—либо смерть.

Обращаясь к разнообразным и не всегда согласным между собою статистическим материалам, касающимся самоубийств, а также к моим личным наблюдениям и воспоминаниям, я могу отметить ряд характерных особенностей этого явления. *Во—первых*, влияние *пола, возраста, времени года и дня*. В общем числе самоубийц женщины составляют одну четвертую часть. С годами своих жертв самоубийства возрастают, представляя в период от 15 до 20 лет 5 % всего числа, повышаясь затем, до 40 лет, падая от 40 до 50 лет, снова повышаясь от 50 до 60 лет и составляя в период от 60 до 70 лет те же 5 %, как в юности. Недоумение и страх пред грядущей жизнью, преждевременное разочарование в ней и в себе самом, а с другой стороны, запоздалое разочарование в прожитой жизни, старческие недуги, душевная усталость и сознание бесплодности дальнейших усилий вызывают одинаковую решимость у юношей и старцев. После 80 лет самоубийства случаются редко, причем побудительная их причина часто бывает покрыта глубокой тайной. Таково, например, самоубийство 82—летнего священника, найденного отравившимся морфием пред лежащим на столе раскрытым евангелием от Иоанна, и в такой же обстановке и в том же возрасте ученого еврея Шварца, с заменой евангелия «Критикой чистого разума» Канта, причем никаких причин их решимости не обнаружено. Если спросить человека, незнакомого с подробностями настоящего вопроса, о том, когда преимущественно совершаются самоубийства, он большею частью ответит: в *ноябре и декабре*, в сумеречном свете, короткие, холодные дни, наводящие тоску, *ночью*, когда приходится оставаться самому с собой, когда отсутствующий сон не приносит забвения горя и забот, а «змеи сердечной угрызеньи» чувствуется с особой силой. И это будет ошибочно. Самые самоубийственные месяцы — *май и июнь*, а таковые же часы — с утра до полудня и от часа до трех, то есть в разгар окружающей жизни и движения.

Во—вторых, влияние *местности, вероисповедания, национальности и профессии*. У магометан вообще нет самоубийств: фатализм, свойственный исламу, удерживает их от этого; у евреев, как уже замечено, оно довольно редко. Но у христиан самоубийства идут в таком возрастающем численном порядке: католики, затем православные и больше всего протестанты. По направлению с юга на север (исключая Норвегию и отчасти Швейцарию) самоубийства увеличиваются; в горных местностях их менее, чем на равнине; в России они растут в направлении с востока на запад; в Европе их всего более по отношению к населению в Саксонии. *Национальный* характер сказывается весьма ярко в обстановке лишения себя жизни и в предсмертных записках. Так, например, француз не всегда может отрешиться от внешнего «оказательства» своего решения и от некоторой театральности в его исполнении; немец — зачастую меланхоличен и, еще чаще, сентиментален; русский человек или угнетен душевной болью, или шутив по отношению к себе, но почти всегда оставляет впечатление сердечной доброты. Молодой француз, оскорбленный тем, что его брачное предложение отвергнуто девушкой, живущей со своей семьей в одной из дачных окрестностей Петербурга, в летний день подходит к террасе, где пьет чай эта семья, раскланивается, прислоняется к стогу сена и, положив себе на грудь фотографическую карточку девушки, простреливает и карточку, и свое сердце. Молодой немец, приказчик в большом торговом предприятии, обиженный тем, что его неправильно заподозрили в служебных упущениях, в чем перед ним и извинились, застреливается на рассвете под Иванов день на скамейке клубного сада, оставив записку: «Солнце для меня восходит в последний раз; жить, когда честь была заподозрена, невозможно, бедное сердце перестанет страдать, когда оно перестанет биться, но жаль, что не от французской пули». Студент — русский — пишет

товарищу: «Володька! Посылаю тебе квитанцию кассы ссуд – выкупи, братец, мой бархатный пиджак и носи на здоровье. Еду в путешествие, откуда еще никто не возвращался. Прощай, дружище, твой до гроба, который мне скоро понадобится».

По отношению к *профессиям*, те из них, которые носят название «либеральных» (адвокатура, журналистика, артистическая деятельность, педагогика и т. п.), дают наибольший сравнительно процент самоубийств. Но огромное не идущее в сравнение ни с какими цифрами число самоубийств представляет врачебная профессия. По исследованиям Сикорского и академика Веселовского, число самоубийств в Европе и у нас (с разницей лишь в мелких цифрах) составляет один случай на 1200 смертей, а у врачей, которых 23 % погибает обыкновенно между 30 и 40 годами от страдания сердца, приходится *один* случай самоубийства на 28 смертей. Нужно ли искать лучшего доказательства тягости врачебной деятельности, сопряженной с сомнениями в правильности сделанного диагноза и прописанного лечения (самоубийство профессора Коломина в Петербурге), с ясным пониманием рокового значения некоторых из собственных недугов, с постоянным лицемерием людских страданий, с отсутствием свободы и отдыха и с громадным трудом подготовки к своему знанию. Большое число жертв самоубийства замечается между фармацевтами, фельдшерами, акушерками и сестрами милосердия. Быть может, легкость добывания и имение под рукою ядов облегчает им приведение в исполнение мрачного намерения.

К особенностям самоубийств надо отнести их *коллективность*, их *заразительность*, а также *повторяемость*. В последний годы часто встречаются случаи, где двое или трое решаются одновременно покончить с собою по большей части вследствие однородности причин и одинаковости побуждений, а иногда и по разным поводам, соединяющим их лишь в окончательном результате. Обыкновенно при этом один или двое подчиняются внушению наиболее из них настойчивого и умеющего убеждать, причем, однако, именно он—то и впадает в малодушное колебание в решительную минуту. Судебная хроника занесла на свои страницы ряд таких случаев. Но бывает и обратное. Достаточно указать на самоубийство девиц Кальмансон и двух Лурье, умерших в артистической обстановке после исполнения похоронного марша Шопена, потому что им «жизнь представляется бессмыслием». В предшествующие последней войне годы коллективные самоубийства развились в женских богадельнях и преимущественно в женских учебных заведениях. Тогда начальницы некоторых институтов и женских гимназий сделали предмет самых произвольных, а иногда и прямо лживых обвинений, вследствие таких коллективных самоубийств и покушений на них, вызванных болезненным предчувствием испытаний и разочарований в предстоящей жизни, подчас особенно ярко рисующихся молодой девушке в переходном возрасте. Коллективные самоубийства встречаются и у несчастных «жертв общественного темперамента». Так, в 1911 году три проститутки лишили себя жизни совместно, оставив записку: «Лучше умереть, чем быть придорожной грязью...»

Наша история знает коллективные самоубийства по религиозным мотивам со стороны фанатических последователей разного рода ересей и расколоучений. Под влиянием знаменитого «отрицательного писания инок Ефросина» в конце XVII и в начале XVIII столетия были одновременные по предварительному соглашению массовые самосожжения и самоутопления. Отдельными вспышками это повторялось и потом. Даже в самом конце прошлого века произошло самоубийство членов семейства Ковалева и их присных, в Терновских хуторах, причем Ковалев закопал живыми в могилу для избежания наложения «антихристовой печати» (то есть занесения в список народонаселения) 25 человек и в том числе всю свою семью от стара до млада по их просьбе и согласию, а сам явился с повинной.

Какое—нибудь самоубийство, совершенное в необычных условиях или необычным способом, вызывает ряд подражаний тому и другому. В семидесятых годах в Харькове одна француженка лишила себя жизни неслыханным там дотоле способом – отравлением угольным газом, и вслед затем в течение двух лет подобное самоубийство было повторено четыре раза.

Выше уже сказано, какое вредное влияние на молодую и впечатлительную или страдающую душу имеют беллетристика и драматургия, упражняющиеся в описании и логическом или психологическом оправдании самоубийств. Еще более вредно действует, ввиду своей распространенности и доступности, ежедневная печать с перечислением всех случаев самоубийств за каждый день, нередко с изложением подробностей выполнения, мотивов и содержания предсмертных писем. Газеты обыкновенно молчали о многих несомненных случаях трогательного самопожертвования и презрения к личной опасности из человеколюбия – и о них приходилось лишь случайно и мимоходом узнавать в конце года из списка наград «за спасение погибающих» на страницах «Правительственного вестника». Зато целые газетные столбцы отводились случаям убийств, грабежей, облития серной кислотой и в особенности самоубийствам. Весьма распространенная «Петербургская газета» от 3 марта 1911 года в хронике происшествий посвящает целый столбец перечислению с подробностями 22 самоубийств и покушений на них, совершенных в течение предшествующего дня; такая же московская газета в 1913 году отдает два широких столбца под статистику самоубийств за май месяц, содержащую сообщение о 640 случаях в 32 городах «от наших корреспондентов по телеграфу». Недаром у некоторых самоубийц, по словам тех же газет, находили в кармане вырезки таких сообщений, в которых, кроме того, *«популяризируются»* и способы лишения себя жизни. Таким путем сделались общеупотребительными в целях самоотравления фосфорные спички и получившая огромное применение уксусная эссенция. В 1912 году в 70 % всех самоотравлений была пущена в ход эта эссенция, причем 50 % случаев приходилось на домашнюю прислугу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.